

к 84
Б 16

П. БАЖОВ



ЖИВЛЕНКА
в ДЕРЕ

МОСКВА 1954





К 84
5 16 | 59725
Барков, И
Мавинка в деле
ц/3р

59725 | 266514
1332
22/34

СОБД и Ю
Отдел хранения

Обл. д. о.
отдел обслуживания
чит. старшего возраста
ЧИТ. З

В

К84
Б16

И. БАЖОВ

ЖИВИНКА
в ДЕЛЕ

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

ХУДОЖНИК
В. РОСКИН

Детская Центральная Библиотека
г. Свердловск

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЦСПС • ПРОФИЗДАТ •
1948

59725



МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА



ИОШЛИ раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумешках, то-есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах у его зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железу руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, —

ровно его кто под бок толкнул, — проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого роста, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть-девка. Слышать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежда-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косою-то своею.

А одежда, и верно, такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слышал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все-ж-таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда, — говорит, — мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошел и видит — ящерок тут неисчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами украшены.

Девка смеется:

— Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие. — А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала да и говорит, и все смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно, — отвечает малахитница. — Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему скажи, да смотри не забудь слов-то:

«Хозяйка, мол, медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лаворевке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватила рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянувшись и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь по моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул вгорячах:

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще, и верно, душной был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечер Хозяйку медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено.

— Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, — тоже собака не последняя, — отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, — крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит:



Детская Центральная Библиотека
& Свердловск

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, — и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все-таки прворный был. Глядит — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот, — думает, — хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шелкового сорту. — Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше, — говорит, — на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромную комнату, а в ней постеля, столы, тубареточки — все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темнокрасный под чернстью, а на ем цветки медны.

— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.

Сели это они на тубареточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал, — говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец, — говорит, — Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похваляю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. — А у парня, верно, невесту-то Настей звали. — Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты, — и подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же, — спрашивает парень, — я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Все тебе будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерики — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. — А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть. — На-ко вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь, — и подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне итти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, — опять всяких земельных

богатств наглядслся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит—у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт-сортом. «Что, — думает, — за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. — И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то, — скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе, — говорит, — Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пушай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все-ж-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто, — говорит, — его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся, — вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что, — говорит, — даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен длиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши. И то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.
— На, — говорит, — только старайся, смотри.

А Степан все свое.

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость, ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слышать стало, и малахит ушел, вода долить приняла. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей,

югда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей обренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана лезы Хозяйки медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, айно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.





Малахитовая шкатулка



У НАСТАСЬИ, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надеывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замяется. Как закованный палец-от, в конце нали посинеет. Серьги на-

весит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шею-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались. Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смысленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно, — говорит, — поберегу на черный день. — И поставила шкатулку на старое место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь-честью. Настасья — баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работающая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эо место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Одним словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит бывало:

— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходилось. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. — Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пушай-де позабавится. Хоть ма-

ленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатертку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на тубареточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любит, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами по-притчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли. Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают: «Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и соседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто. А сама думает:

«Оберегать-то ее все-таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опажнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбеце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придет — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось, — а укрепились. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого роста, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему виду, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи.

— Нельзя ли, хозяйюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а итти не близко.

Настасья сперва подумала, не подслана ли опять за шкатулкой, потом все-таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером — квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь, неочесливая! Приветить ее не успели, а она нако — обуточки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком вышиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается:

— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу, — говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ка, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяйюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пушай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что.

59725

Библиотека
в Саратовской области

Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скося заглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятиня памятка — шкатулка малахитовая. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка, — не того слова, — стала надевать, а та, знай, похваливает.

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высокие на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинах. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сторели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешено, у кого

сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежда на ем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лег один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашиваться — где это такое помещение?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подает ее Танюшке да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут погосподски, часы с цепочкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратять можно. Толку все-таки не выходило. Скажет Танюшка

что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому службе эки слова, как собаке кipyток.

Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуя каменный, зеленоглазый! Таковую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет, аль в христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудрая была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заработать. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку однако Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.



Детская Центральная Библиотека
в Свердловск

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать — так продавать. — И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у соседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-от, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят, — робята подросли, — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостатке ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все-таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

— Чем, — говорит, — тебе так-то жить на худой славе, выходи-коты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Поле-

вую пошлю. Там дело направлено, пушай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

— Не желаю, — шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала, — шкатулку продают. «Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоящее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошади-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это — думает — таксе? У самой царицы эдаких украшений нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько, — спрашивает, — просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрись. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала, — отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты, — кричат, — ума решилась али что! В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Усталась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена पुше того воззрилась:

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья? — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я местичко этим камням. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новопкупку все-таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул.

— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам неподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, бояться кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пушай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими,

конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастанай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В каком месте живет?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.

Паротя и говорит:

— Поглядеть бы, — а у запивох и заделье нашлось.

— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли верхки меж столбами. Подыскиваются, одним словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью, — и работу свою показала.

— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там заленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих камнях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.

— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежда другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохито Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну, вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу, ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одеждой да камнями украшенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны, — говорит, — мы подарки принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впопых держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и нивесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском доме спять пировля. Да так и пошло. Пospят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему бзрин самых заливчатских питухов поставил — накачивай доотказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя, знай, похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще камения дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про попку-то знает!

Барин как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоуменький был, мотоватый. Одним словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть камнями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего, принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее да и все. Потом все-таки нашел разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.

— Мои теперь, — похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь, подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это, — отвечает Танюшка, — можно

Взяла шкатулку, разобрала уборы, — привычно дело, — и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить. — Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала да и молвит:

— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербург стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставляю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.

— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петербурге будешь?

— К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербург-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала, — тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про камень да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

— Пушай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает, откуда у ней лошади? где платье дворцовское? А спрашивать все-таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пушают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин-Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста, — говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова-барина:

— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуётнулись, поднимать стали. Потом, когда суматоха полеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косою заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и Паротина жена: поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, бишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

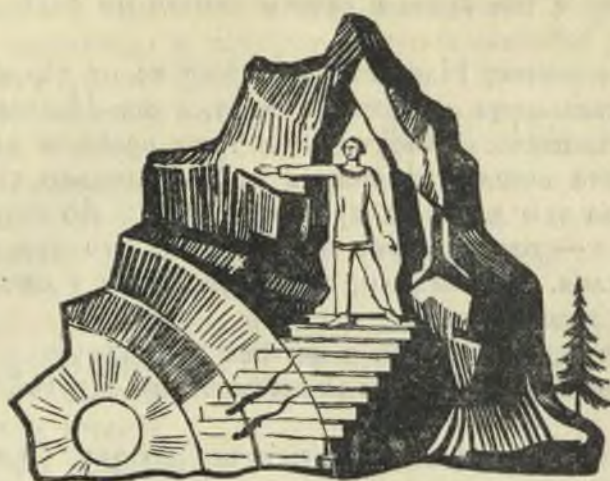
Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.





ДВЕ ЯЩЕРКИ



НАШУ-ТО Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтобы дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумешки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе и работы не стоил. Вовсе зряшний рудничешко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.

До этого он — этот Турчанинов — солью промышлял да торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался.

Завод у него был. Так себе заводешко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подыехал, — нельзя ли такой завод получить. — Мы, дескать, к медному делу привышны, — у нас пойдет.

Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. У немцев, думают, толку не вышло — на что такой завод? Убыток один. Так Турчанинову наш завод и отдали да еще Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, — умел с народом обходиться! Кого хочешь, обвести мог.

— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни...

Ну, ласковый язычок, — напел. Смолоду на этом деле, — понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите?

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумешки походили, руду тамошнюю поглядели, да и говорят прямо:

— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в эдаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им все-ж-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите, — говорят, — нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются, — за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подсланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.

Турчанинов, конечно, согласился, да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает: «К руке мне это».

Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет, — что хошь делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:

— Наберешь таких-то, с бору да сосенки, потом не справишься, себе не рад станешь. Беглые народ бывалый, — один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая, — не углядишь за ними. Переманю-ко лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир, либо еще каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.

Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас и слыхом не слыхали, чтоб кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Одним словом, подогнано.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к слычью прились. Он и давай наговаривать:

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите каких людей понадежнее, я их либо выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И олять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поет, пляшет. Ну, обошел стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угодыя всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловяг. Так и набрали народу не то что для медного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Все едино, как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышленный, видать.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем, — отвечает, — был.

— Это по-нашему что же будет?

— По-нашему, около пестов ходил, — руду толчи да сеять.

— Это, — говорит мастер, — дело малое — в сетенку бухать.

А засыпку немецкую знаешь?

— Нет, — отвечает, — не допускали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твердое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратно мне говори, что полезное у немцев видел.

Так этого парня — Андрюхой его звали — при печак и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.

Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загremели наши Гумешки. По всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличение сделалось, и все из тех краев, где у Турчанинова раньше заводешко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подай — находил место. Навидячу богател. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумешки на их

землях приходится и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошел. С князьями да сенаторами попросту. Отбил ся от Строгановых. При деньгах-то долго ли!

Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их. Сперва, как дело направлялось, мяконько похаживал перед этими мастерами:

— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегченье выйдет.

А какое облегченье? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да еще приговаривают:

— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!

Турчанинова тогда уже все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему, — денег много, считать надо.

Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:

— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пиоровал? Обскажем ему начистоту.

Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.

— Барин, — говорят, — кофею напился и спать лег. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.

Народ зашумел:

— Какой такой сон не к месту пришел! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пушай к народу выходит!

На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборуженных сколько хошь. А подручный тот, Андрюха-то, человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:

— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?

— Как, — отвечает барин, — не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько! Память крепче будет.

Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был, — не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъян своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров.

кои побойчее да поразговорчивее, всех отхлестали, а которые потишае, — тех не задел. Погрозил только им:

— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!

Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом глядят, — порухи бы не вышло. Только все-ж-таки людей нехватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андриюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андриюху и взяли на его место. Он сперва ничего — хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают еще над парнем, Соленым его прозвали. Он без обиды к этому. Когда и сам пошутит:

— Солено-то мяско крепче.

Ну, вот, так и уверились в него, а он тогда исхитрился да и посадил козлов сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал.

Его, конечно, схватили да в гору на цепь. Руднишные про Андриюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат... Ну, никак...

Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть того крепче будь, не выдюжит. Кормежка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет — пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.

Помаялся так-то Андриюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень-тенью стал, — не с кого работу спрашивать. Руднишный надзиратель, и тот говорит:

— Погоди, скоро тебе облегченье выйдет. Тут в случае и закопаем без хлопот.

Хоронить, значит, ладится, да и сам Андриюха видит — плохо дело. А молодой, — умирать неохота.

«Эх, — думает, — зря люди про Хозяйку горы сказывают. Будто помогает она. Коли такая была бы, неуж мне не пособила бы? Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она Хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».

Подумал так, да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему все равно — не чувствует. Конец пришел.

Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.

Лежит Андрияха, а в голове думка: «Это мне перед смертью солнышко приснилось».

Только ему все жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава негустая и камешки мелконькие — плитнячок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.

Андрияха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то... Выходит, — не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.

«Видно, — думает, — мертвяком меня выволокли, расковали да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»

Огляделся и видит: у камня туесочек стоит, а на нем хлеб, ломтиками нарезанный. Ну, Андрияха и повеселел: «Свои, значит, вытащили и за мертвого не считали. Вишь, хлеба поставили да еще с питьем! По потемкам, поди, навестить придут. Тогда все и узнаю».

Съел Андрияха хлеб до крошки, из туеска до капельки все выпил и подивился, — не разобрал, что за питье. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушел. Только и то думает: «Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперед начальство набезит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы! Одежонку какую добыть!»

Однем словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумешки-то, и завод близко, даже людей видно, — как мухи ползают. Андрияхе даже боязно стало, — вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зеленые. Одна побольше, другая поменьше.

Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрияха и не заметил, как облачко набезало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зеленые-то не угомонились, все друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрияхи. Как посильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались. Сунули головенки, — и нет их. Андрияхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый, да, видать, и ненадолго. Андрияха взял и разделся.

«Хоть, — думает, — которую грязь смое», — и ремки свои под этот дождик разостлал.

Прошел дождик, опять ящерики появились. Туда-сюда шныряют и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло, — у солнышка сила не та. Андрюха тут и подумал: «Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».

Сам рукой уперся в большой камень, с которого на завод и Гумешки глядел. Не то чтобы в силу уперся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.

«Что, — думает, — за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил».

Подошел все-ж-таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушел. Уперся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала. Разве она пошевелится?

«Видно, у меня в голове кружение от нездоровья. Почудилось мне», — подумал Андрюха и сел опять на старое место.

Те две ящерики тут же бегают. Одна ткнула головенкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерица туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерица пробежала до конца камня да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает:

— Тут, дескать, выйдет. Некуда больше.

Подождал маленько Андрюха, — опять по низу камня чудешная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерица головенку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерица, другая, и скок ей на хребетик — поймала, дескать! — и глазенками блестит, радуется. Потом обе убежали. Только их и видел. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить.

Оглядел еще раз камень. Целехонек он, даже званья нет, чтобы где тут трещинка была.

«Ну-ко, — думает, — попытаю еще раз».

Уперся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерики шмыг вперед, как дорогу показывают. Спустился еще ступеньки на две, а сам все за камень держится, думает: «Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потемках-то?»

Стоит, и обе ящерики остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрияха и смекнул: «Видно, Хозяйка горы смелость мою пытается. Это, говорят, у ней первое дело».

Ну, тут он и решился. Смело пошел, и как голова ниже щели пришлась, опустил рукой от камня. Закрылся камень, а внизу как солнышко взошло — все до капельки видно стало.

Глядит Андрияха, а перед ним двери створные каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерики к ней подошли — в это, дескать, место. Андрияха отворил дверку, а там, — баня. Честь-честью устроена, только все каменное. Полок там, колода, ковшик и протча. Один веничок березовый. И жарко страсть — уши береги. Андрияха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одежды на спицах сколь хошь навешано. Всякая одежда: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрияха и думать не стал, залез на полок и отвел душеньку, — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Одедся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерики его у большой двери ждут.

Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а посередке стол. Всякой еды и питья на нем наставлено. Ну, Андрияха уж давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питье не разберешь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питье, а не хмелит.

Наелся-напился Андрияха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящерикам поклонился:

— На угощеньи, хозяйюшки!

А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головенками помахивают:

— На здоровье, гостенек! На здоровье!

Потом одна ящерица — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрияха за ней пошел. Подбежала она ко кровати, — остановилась — ложись, дескать, спать теперь! Кровать до того убранная, что и задеть-то ее боязно. Ну, все-ж-таки Андрияха насмелился. Лег на кровати и сразу уснул. Тут и свет потух.

А на Гумешках тем временем руднишный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой, — жив ли прикованный, — а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:

— Куда девался? Как теперь быть?

Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится — самому отвечать придется. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился все-ж-таки, — кое с боков подгрёб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.

— И то, — говорит, — обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.

Надзиратель поет:

— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная, руды настоящей давно нет, а мертвому не все ли равно, где лежать.

Руднишные видели, конечно, — подстроено тут, а молчали.

«Отмаялся, — думают, — человек. Чем ему поможешь?»

Так начальство и барину сказало:

— Задавило, дескать, того, Соленого-то, который нарочно в печи козлов посадил.

Барин и тут свою выгоду не забыл:

— Это, — говорит, — его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пушай народ наставляют, как барину супротивничать.

Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:

— Хороший парень был. Немного таких осталось.

А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуше того. Выспался все-ж-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.

Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился, да и говорит:

— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слез чихнул.

Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идет. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горшечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.

«Это, — думает, — мне и надо. Схожу по потемкам на рудник. Может, повидею кого, узнаю, как у них там и в заводе что».

Пошел потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случая не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко:

— Михайло! Иди-ко поближе.

Тот сперва пошел на голос, потом остановился, спрашивает:

— Кому надо?

— Иди, говорю, ближе.

Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидела. Визг подняла — уши затыкай.

— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!

Михайло тоже кричит:

— Андрюху Соленого видел! Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!

В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят:

— Надо поглядеть, что за штука!

Пошли тулаем, а так Андрюхе неладно.

«Покажись, — думает, — зря-то, а мало ли кто в народе случится».

Он отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолклись около куста, расходиться стали.

Андрюха тут и удумал. Обошел Гумешки лесом да ночью прямо на Медный завод. Увидели его там — перепугались. Побросали все, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уж его сняли, — обеспамятел вовсе. Андрюха и походил у печей-то... Опять все наглухо заморозил да к барину.

Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь, ушел на свое место — в узорчату палату. Сам думает: «Погоди! Еще я тебе соль попомню!»

На другой день в заводе суматоха. Шутка ли — во всех печах козлы. Барин слезами ревет. На Гумешках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать, — пушай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.

Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась и кольца ножные целехоньки, не надпилены даже. Тут руднишного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвет и мечет:

— Поймать, коли живой!

Всех своих стражников-прислужников нарядил лес обыскивать.

Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколь, видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке лучше. Сидит у камня и раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была.

«Небось, и она поверила, что умер. Поплакала, поди, сколь-нибудь?»

Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу ворочались али так, ягодницы припозднились... Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.

Вот одна-то и говорит:

— Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услышала. Живой ведь, сказывают, он.

Другая отвечает:

— Как не живой, коли все печи заморозил!

— Ну, а Тасютка-то, что? Искать, поди, собралась?

— Дура она, Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет.

— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мертвого бы не побоялась.

Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Тасютку осудил. Сам думает: «Нельзя ли через них весточку послать?»

Пошел на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну, как объявишься?

Поглядел-поглядел, не показался. Пошел обратно.

Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:

— Бери его!

Андрюха видит — со всех сторон бегут... Нажал камень да и туда.

Стражники-прислужники подбежали, — никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят — стараются. Ну,

разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:

— Всамделе, видно, покойник, коли через камень ушел.

Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.

— В Сысерть, — говорит, — мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.

Погрозил — и на лошадь да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится. Узнали, так непременно караулить станут. Думал-думал, на то решил:

«Ночью попытаю. Не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет».

Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет.

«Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».

Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как все устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показала ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:

— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдешь. Об еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь, — заслужил. Выведет тебя до рога, куда надо. Иди вон в те двери, только, чур, не оглядывайся. Не забудешь?

— Не забуду, — отвечает, — спасибо тебе за все доброе.

Поклонился ей и пошел к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся, — где та-то? А она пальцем грозит:

— Забыл обещанье свое?

— Забыл, — отвечает, — ума в голове не стало.

— Эх, ты, — говорит, — а еще Соленый! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?

— Твоя, — говорит, — воля.

— Ну ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.

Пошел Андрюха, а та, другая-то, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней, и конца не видно.

Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его штольня вывела, — про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали.

— Вот, дескать, парень развертной был! Соленым звали. Посолил он Турчанинову-то!

А те — приставленники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днем и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел, — отошел от страха да их же ругать.

— Пока, — кричит, — вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумешках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?





Золотые дайки



КТО-ТО сказал, что дайки чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится, только наши березовские старики смехом смеялись, как такое услышали.

— Какое же, — говорят, — чужестранное, коли чисто по-нашему говорится и у здешних стариков раньше в словинку входило. Вроде заклатья ее берегли. Не всякому из своих сказывали. Как дойдет до настоящей породы, так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку.

Пустяк, конечно, пустословье одно, вроде ребячей приговорки, да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след ее чужим людям отдавать. Себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке вся маята первых здешних добытчиков завязана. Поворошить такое — старикам утеха, молодым — наученье. Пусть не думают, что

деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и поймешь не сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется, а ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло. Как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться.

Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той ямке золотые комышки. Вроде и просто, а как подумаешь, — большая это редкость, чтоб в здешнем жильном золоте комышек отдельно найти. Золото у нас, — поди-ко, полосовое: полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Маленько посвободнее только в жилках, которые те полосы пересекают. Наши старики, кои потом научились эти поперечные жилки выковыривать, приметку оставили.

В которой жилке турмалин блестит, либо зеленая глинка роговицей отливает, там золота не жди. А вот где серой припахивает, либо игольчатник-руда пойдет, айконитом-то которую зовут, там, может статься, комышек готовенького золота найдешь.

Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, видно, да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не умели. Видимость только одну делали, будто что разумеют.

Ну, вот... Нашел Ерофей золото, принес по начальству, честно указал место, а стали искать — даже званья не оказалось. Как быть? Пришлось нашему первому золотому добытчику клясться-божиться:

— Места не утаил, а куда золото подевалось, того не ведаю.

А ему одно обещают:

— Коли в срок не укажешь место, голову отрубим.

При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо кого просить-молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому как подходит.

Не один Ерофей из-за золота сна-покою лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались, — мне бы. Разговоры всякие про золото пошли. Которые, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло.

Ерофей-то Марков из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое что ни есть кержацкое гнездо было свято. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных кон-

цов. Иные, сказывают, из Выгорецких каких-то пустынь, другие — с Керженца-реки. Этих больше было, потому шарташских и прозвали кержаками. Скитов-то, мужских и женских, порядком тут поставлено было. И все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели.

Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут. Тоже хлебушко едят и от медку либо еще чего не отказываются. Вот они давали народу ослабу.

— Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивее.

Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался.

— Они де вас живо под печать антихристову подведут. Не смигнешь — припечатают...

Ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ, хоть в потемках ходил, разумом не обижен. Скитников-начетчиков слушал, а про себя-то соображал, что лучше казалось. Как стали в этих местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что ж за люди появились и какую думку они имеют. Скитники обеспокоились, зашипели: «Кто с городскими свяжется, тому царства божьего не видать».

Только ведь не зря говорится: «Который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет». А тут, считай, вовсе большой по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну, как же. Реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб и якоря ковать, и ядра лить, и посуду делать. Каменное дело тут же. Шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятьем грозить стали. Иные, понятно, испугались, а которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, видно, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком заденет, и того не выпустит. Нашел один камешок, стал другой искать, а там третий где-то близко остался. Его, беспреречно, найти надо. Так и пошло. Скитникам это нелюбо, а проклинать все же боятся: если этого не проймешь, с другим сладу не будет. Ерофей по-своему думает: притерпелись старики, сторожиться перестал, а они за ним неотступно доглядывают. Как нашел Ерофей золото, скитники живо про это разнюхали и шум подняли:

— Гляди-ко, что Ерофейко наделал! Золотого змея из земли выпустил. Погибель скитам нашим. Набегут бритоусы и всю нашу пу-

стыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял.

Ну, нашлись такие, кто этих скитников и послушался. Ночью вывезли к яме возов с десятков чего попало и завалили то место. Скитники одно поговаривают: «Вези больше, чтоб золотому змею ходу не было».

Немцам, коим оглядеть ерофееву яму доверили, эта скитническая дурость к рукам пришлась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что! Поковырялись для видимости, нашли вовсе другое, чему там не место, да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шарташские радуются: отвели беду, сохранили пустыню.

Только и в Шарташе не все так думали. Нашлись такие, кто другому понимал. Начали перешептываться:

— Ерофей-то, верно, золото нашел. Порыться бы кругом того места. Может, и нам покажется. С золотом и пустыню можно побоку. Пусть, кому надо, за нее держится, а нам и без нее не тоскливо.

Скитники-начетчики прослышали, грозятся:

— Проклянем, кто посмеет ерофейкин погибельный путь торить.

Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали. Недаром слово молвлено: «Старому с молодым и во сне не по пути, — разное грезится». Сколь старики не угрожали, у молодых ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около ерофеевой ямки всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел. Кто опять вилвище выбирает, а оно близко той же ямины выросло. Скитники видят — не пособиться без самой большой острастки, собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть:

— Кто станет около ерофейкиной ямы топтаться, того из Шарташа выгоним и семью не пощадим.

Про то скитники, видно, забыли, что пугать все-таки с оглядкой надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем и не думали. Тут это самое и вышло.

В Шарташе в ту пору жила одна семья, — семеро братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитай, сколь народу. Братья это понимали и крепко не любили, чтобы им кто грозил. Насчет ерофеевой ямы до того у братьев и в помине не было, а как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, за такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Скитники узнали, понесли на братьев: они в вере не тверды. Так, сказывают, и было. Братья без своих стариков жили, досматри-

вать за чином-обрядом некому было, они и обходились с божественным простенько. Досуг — помолятся, недосуг — и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на приметке значились, да подступить к ним побаивались, а тут сгоряча и налетели. Братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили:

— Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в ерофеевой яме, и про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный, поди, был, место хорошо заприметил, а стали копать — не то оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую?

Сами, понятно, знали, кто и сколько привез, чтобы следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чувят, к чему клонится, вой подняли:

— Веру потоптали! Городским табашникам продались! Выгнать всех из Шарташа! Чтоб духу не осталось!

Братья на дыбы:

— Попробуй! Скиты размечем!

За скитников, понятно, вступились, и за братьев тоже. Шарташ и закачался, — на две стороны пошел. В задор люди вошли. Всяк свое доказать хочет. От скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный. Слово-то у него по праздникам услышишь, — а тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из семерых-то братьев жена в скиты сбежала — испугалась стариковских слов.

С этой свары по-настоящему поиски золота и начались. Перфил, у которого жена-то в скиты от греха ударилась, так и объявил:

— Жив не буду, а золото найду. Тут оно где-нибудь.

За этим Перфилом другие потянулись, принялись землю ворошить. Все-таки от той ямы, которую Ерофей раскопал, далеко не уходят. Разговоров про золото еще больше стало. Всяк по-своему судит, как его искать, да от какой причины золото в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея. Одним словом, неразбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиску отставать стали. Другие, наоборот, еще усерднее за рытье взялись. Подальше от Ерофеевой ямы отходить стали. Глядишь, то один, то другой и наскочит на породу с золотой искрой. Блестит в яме, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчею на речке поставило. Стали тут породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, только всем видно стало, — золото в той породе есть и добыть его можно.

Народу все-таки охота добраться до тех золотых комышков, которые Ерофей нашел. Ну, никак не выходило. Потом уж это откры-

лось через одну женщину да вовсе зряшного мужичонка, коего жена заставила яму в новом месте рыть.

Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра. Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работающая. Женихов у нее хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился: выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. Тут вот и подвернулся Вавило Звонец. Мужичонко, прямо сказать, незавидный. Из таких, кои больше всего любят по завалинкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобны, чтобы языку пособлять: где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавило, как говорится, города брал. Кого хочешь, заставит уши развесить.

Этот Вавило Звонец и подсыпался ко Глафире. На ту пору у него беда приключилась: жена умерла. Ребят хоть и не осталось, а все вдовцу не сладко жить. Вавило, значит, и давай напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж вышла. Скитники-начетчики побаивались, понятно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали-подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать: «Больше ко мне на глаза не кажись».

У Глафиры со Звонцом доли не вышло. Известно, сколь жена не колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила, впроголодь-то ей живо наскучило. Она и говорит мужу:

— Ну, Вавило, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена, потому не работник ты, а в роде худого ботала.

Вавило давай ее улещать, только она не поддается.

— Слыхала, — говорит, — сладких слов не мало, да дела не видала.

— Вот погоди, — отвечает, — дай журавлей дождаться. Увидишь, какой я человек.

— На что, — спрашивает, — тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, тебе богатство принесут?

Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того Звонец непременно оболтаст, потому из таких был — сам себе верил. Тут и принялся расписывать.

— Многие, — говорит, — золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это во всей тонкости показано. Владеет золотом престрашный змей, а зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин.

Глафира сперва не верит, посмеивается.

— Журавли-то с которого боку тут пришлись?

— Журавель, — отвечает, — в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом.

Глафира и давай спрашивать, что за тайное слово, коим змея глушат, и как до того змея добраться. У Звонца, конечно, на все ответ готов.

— Надо, — объясняет, — в потаенном месте яму вырыть поглубже да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится тоже. Приоденется для такого случая. На голове большущий комок золота, вроде шапки, али, скажем, венца, а по тулову опояски золотые, с камнями. Под землей Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму все же поближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен тут сказать самым тихим голосом:

— Подай-ко, Дайко, свой золотой венец да опояски!

От того тихого слова змей Дайко очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Коли успеешь, ничего худого тебе змей не сделает, потому, — с шапкой силу потеряет и станет камень-камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь да змей на тебя поглядит, сам камнем станешь.

Глафира посомневалась:

— Такое дело и удалому по грудки, а тебе выше головы.

Ну, Звонец недаром так назывался. Оболтал таки жену, поверила, а про себя думает: заставлю испытать на деле. Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаенном месте сготовил. Тот стал отговорки всякие придумывать: «Время не подошло, земля не оттаяла». Только Глафира не отступает, за ворот взяла:

— Пойдем выбирать место!

Вавило еще отговорку нашел: днем нельзя — скитники увидят, а ночами какая работа в эту пору, коли волков сила.

Глафира свое твердит:

— Огонь на что? Разведешь — не подступят волки.

Добилась таки. Пришлось Звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топор-тупицу взял. Ну, ломок да лопатку тоже.

Собирается так, а про себя думает: «Отсижусь у соседей либо у скитников, утречком пораньше прибегу». Жена свое в голове переводит:

— Чтой-то мой муженек волков боится, а об огне у него и ду-
мушки нет. Сфальшивить, видно, хочет.

Подумала так и говорит:

— Сама с тобой пойду.

Звонец давай отговаривать:

— Не пригоже такое женскому полу. Небывалое дело.

Глафира уперлась:

— Мало ли чего не бывало, да стало.

Так и не мог Звонец отбиться, — пошла с ним Глафира. Полный
горшок углей из загнетки нагребла.

Звонец злится, конечно, да хитрости придумывает:

— Коли на то пошло, заведу ее подальше. Ноги по снегу-то на-
ломает, другой раз не увяжется.

И скитников тоже побаивается, как бы они не узнали, что он
тоже золото искать придумал. Вот, значит, идут да идут. Глафира
женщина в силе, — что ей? А Звонец притомился, язык высунул.
Подбодрило, как волков услышал. Ноги сами наутек пошли, да жена
ухватила.

— Что ты, — говорит, — дурак такой, а еще мужиком считаешься!
Неуж не слыхал, коли кругом волки завыли, одно спасенье — разводи
огонь.

Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько развели ко-
стер. У Звонца зуб на зуб не попадет, а Глафира распоряжается:

— Выбирай место.

— Это, — отвечает, — самое подходящее.

— Коли так, начинай бить яму.

Звонцу что делать? Принялся, а земля мерзлая и руки непривыч-
ные. Видит Глафира, — толку не выходит, занялась сама. Сразу
смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело, Глафира рабо-
тает, а Вавило на волков оглядывается. К утру волчишки затихли, по-
разбежались, видно, и Звонец с Глафирой домой пошли.

С неделю ли, больше Глафира этак-то своего мужика в лес та-
скала. Напринимался он страху. Ну все-таки ямку вырыли. Мало-
мальскую, конечно. На том месте она пришлась, где вот старый бе-
резовский рудник теперь показывают.

Как к весне подвигаться стало, Глафира и потянула мужа в лес:
не пропустить бы прилет журавлей. Только Звонец на этот раз от-
бился. Насказал, что по всяким книгам женщине не указано при та-
ком случае быть: змей ее сразу учует. Выгородил, чтоб одному итти,
а у самого одно на уме: «Ни за что на такую страсть не пойду».
Глафира, конечно, подозрение имела, каждый вечер провожала мужа

из дому, да по потемочкам он увернется и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене:

— Не показался мне змей Дайко. Учужал, видно, что женщина в той яме бывала.

Глафира тут не вытерпела. Плюнула Звонцу в бороденку и говорит:

— Эх, ты, сокол ясный! Нашел отговорку — подолом прикрыться! Дура была, что такого трухляка слушала. Других журавлей поджидать не стану. Живи, как знаешь, а я ухожу.

Звонец, понятно, опять язычком заработал, да Глафира и слушать не стала, пошла. А куда ей? К брату и думать нечего, потому — Кончина: сказал слово, — не отступится. Глафира и сама той же породы: оплошку сделала, — плакаться не станет. Скитницы, на ее житье глядячи, давненько к себе ее сманивали, потому — работница без укору. Да, видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и придумала в город податься.

В городе в ту пору в женщинах большая нехватка была. Увидели такую молодую да пригожую, валом за ней пошли. Один болезнует, как ты одна в таком месте жить будешь, другой это же говорит, и всяк к себе тянет. Глафира женщина строгая, объявила:

— Не пойду без закону.

За этим тоже дело не стало, — хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала, какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Кержацкое-то замужество тогда вовсе в счет не брали.

Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетники на две недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире:

— Проклята ты в житье и в потомстве твоём до седьмого колена. Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле.

Одним словом, не поскупились. Случай, конечно, небывалый, чтоб керженка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другие побаивались.

Небесного Глафира не больно испугалась, а земная доля у нее опять не задалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились и ни за барином, ни за казной не числились, а как вышла замуж, так и попала в крепостные. Как говорится, из глухого рему да в болотное окошко!

Муж Глафире неплохой будто пришелся. Из маленьких начальников, в роде нарядчика по работам. Ну, из боязливых. Больше всего за то беспокоился, как бы барина не прогневить. С год ли, два ладно

жилось. Об одном Глафира скучала — ребенка не было. А к счастью оно оказалось. Барин, видишь, приметил пригожую молодницу и велел наряжать ее по вечерам в барский дом полы помыть да постель сготовить. Глафира знала эту барскую повадку, сказала мужу, а тот глаза в пол да и говорит:

— Что ж такое? Наше дело подневольное.

Глафира остолбенела от такого слова. Ну, смолчала, а про себя думает: ни за что не пойду. Раз не пошла, другой не пошла, на третий барские слуги сами за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не случилось. Глафира видит, — прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась.

— Давно, — говорит, — завидки берут на тех девок да молодаек, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась, да муж не пускал и еще на меня сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада-радехонька хоть одним глазом поглядеть, как барин живет, на какой постелюшке он спит-почивает.

Обошла так посланных словами-то и говорит:

— Приодеться дозвольте. Негоже в барский дом растрепой показаться.

Посланные видят — не супротивничает баба, доверились ей. Глафира выбрала из сундучка сарафан понаряднее, буски да еще что, прихватила ширинку и вывернулась в сенцы, будто умыться да переодеться. Сама первым делом подперла чем пришлось дверь, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами.

Время летнее. К вечеру пошло, а еще долго светло будет. Глафира и думает: как быть? Посланные не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймают. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу.

Город в ту пору не велик был. Избушка по-за крепости приходилась. Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама все думает: куда? В таких-то мыслях добралась до Шарташа-озера. По вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видно, сытехонька, не мечется за мошкой, а только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плеску не слышно.

Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно: сколько ни прикидывай — нет ходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе, пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопатка, в другой

узелок с праздничным нарядом. Вспомнила про узелок, поглядеть захотелось. Известно, женщина... В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там всякими проймами-прошвами да позументом, буски на себя нацепила, погляделась в воду и говорит шуткой:

— Нарядиться вот так да пойти в Вавилову яму. Не возьмет ли змей Дайко меня в жены. Иначе дороги нет. От церковников убежала, от своих проклята, а раков озерных кормить неохота.

Потом и по-другому подумала:

— Может, этот наряд и для дела пригодится. В ношбенном-то меня многие видали. Вот и оставлю его на тропе, а сама в этом уйду. Найдут, скажут, — утопилась, искать перестанут.

Придумала так, и давай переодеваться. Не утерпела, погляделась в воду да и говорит:

— Не может того быть, чтоб ни одного дитенка не выкормить. Не в одном этом городе да Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду.

Сказала так и ровно переменялась. Скоренько переделалась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста-невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного. Прошла мимо Шарташа. Дорога густым лесом, а уж вовсе к потемкам близко: волков по-летнему времени, конечно, не опасайся, а все-таки в потемках итти несподручно. Глафира тогда и подумала:

— А что если мне в той ямке, какую с Вавилой рыли, переждать до свету.

Забавно показалось, как про это вспомнила. Ну, и пошла. Место она хорошо знала. Пришла еще на свету. Видит, — перемена большая вышла. Яма много обширнее стала и вся сделана по-хозяйски. Подивилась: неуж Вавило такое может? Валок с бадьей пристроены, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устроена. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму. Ступенек десятка полтора оказалось. Темненько там, а разобрать можно, что тоже по-хорошему ведется, и сухо в той ямке. Глафира затуманилась, позавидовала:

— Бывают же мужики!

Неохота ей после того стало из ямы выходить. Нашарилла рукой выступ да и села тут. Припомнилось ей, как Звонец про золотого змея Дайка рассказал. Думала-думала об этом да, видно, и задремала. Только это ей, как явь, показалось.

Сидит будто она на дне большого-пребольшого озера. Во все стороны этакое серое, маленько сголуба, на воду походит. И дно, как

в озере, где помельче, где поглубже. На дне травы да коренья самого разного цвету. Одни кверху, в роде деревьев, тянутся, другие понизу стелются, в роде, скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с дерева ростом, какие-то веревки повешены. Толстые и красным отливают. В промежутках везде змеи. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. В том сходство, что на каждом змее как обручи набиты и блестят те обручи золотыми искрами да камнями переливаются. Глядит Глафира и думает:

— Вон оно что! Не один Дайко-то, а много их тут!

С этим проснулась да сейчас же снова заснула и точь-в-точь это же видит. Один змей вовсе рядом. Руку протяни — обруч достать можно. Глафира сперва испугалась змея, думает, живой. Змей пошевеливается, как вот намочшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь, только шапки золотой нигде не видно. Пригляделась этак-то Глафира и бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комышки золота видно. И до того все явственно, что Глафира, как проснулась, приметку острым камешком поставила, в котором месте ближний обруч приходился.

Видит, — вовсе светло. Собралась из ямы подниматься, а какой-то мужик по лестнице спускается. Глафира, чтоб враспloch не потревожить человека, и говорит:

— погоди, дяденька! дай сперва вылезу.

Мужик вскинулся, а не испугался, в роде даже обрадовался.

— Пришла-таки? Ну-ко, кажись, кажись! Какая в мою долю ввязалась?

Глафира удивилась, что он такое говорит. Выбралась поскорее, глядит, а это Перфил. Из семерых-то братьев. Жена у которого в скиты ушла.

Перфил тоже Глафиру признал. Он годов на десяток постарше был, с малых лет ее видел. Приметна ему чем-то еще в девчонках была. И потом, как полной невестой стала, Перфил на нее поглядывал, а случалось, и вздыхал:

— Даст же бог кому-то экое счастье! Не то, что моя Минодора. Только и знает, что поклоны по лестовке отсчитывать да перед божницей на коленках ползать.

Судьбу Глафирину Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники-начетчики принялись голосить насчет проклятия Глафире, Перфил дал такого тумака Звонцу,

что тот, почитай, месяц отлеживался и вовсе без пути языком болтал. Кто ни подойдет, одно слышит:

— Дайко-змея, золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояска подержаться.

Потом, как отлежался, со свидетелями пришел к Перфилу доспрашивать: за что? Перфил на это и говорит:

— Считаю, как тебе любо, да вперед мне под руку не подвертывайся. Рука у меня, видишь, тяжелая, может и покойником сделать. Тогда и вовсе не догадаешься, — за что?

Из-за этого случая у Перфила с братьями рассорка получилась. Они, конечно, против скитников зуб имели и Звонца крепко недолюбливали, а все-таки укорили брата:

— Нельзя этак-то, — смертным боем хлестать ни за что, ни про что. Тоже живое дыханье, хоть и Звонец.

Перфил на это говорит:

— То и горе, что с дыханьем посчитался, ослабу руке дал, кончить бы надо.

Братья, понятно, свое заговорили, он — свое, так и рассорились. С той поры Перфил на отшибе от своих стал, а про то никому не сказал, что за Глафиру этак Звонца стукнул. Теперь видит, — эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошли. Спрашивает:

— Когда ты из города ушла?

Глафира без утайки ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает, зубами скрипит, потом опять:

— Как ты в мою яму попала?

Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубашки и показывает перстень.

— Не твой ли на гайтане ношу?

— Мой, — отвечает.

— То-то он мне по душе пришелся. Нашел эту ямку. Вижу, — кто-то начал да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего. Тоже бросить хотел, да вот перстенок этот мне и попался. Перстенок, гляжу, немудрененький, а чем-то он меня крепко обрадовал и в роде обнадежил. С той поры и ношу на гайтане с крестом и все поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенка. Вот ты и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться.

— Не беспокойся — говорит, — толк будет. — И рассказала, что ночью видела.

— Про золотого змея Дайка, — отвечает, — много в Шарташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул, чуть не месяц

про этого Дайка бормотал. Все просил за кисточку какую-то подержаться, да не допросился, видно. Может, и твое виденье обман, а все же попытать надо. Только просить-молить не согласен. Лучше я тому Дайку пригрожу, — не испугается ли.

Спустились в яму. Показала Глафира свою приметку. Перфил ударил против того места, а сам приговаривает:

— Подай-ко, Дайко, свой пояс! Не отдашь добром, тебя разобьем, под пестами столчем, а свое возьмем.

Маленько поколотился, дошел до поперечной жилки, а там хрустали и золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комышков золотых попало. Радуются, конечно, оба. Потом Глафира говорит:

— Надо мне, Перфил, дальше итти. Тут не укроешься: найдут. Скажи хоть, до какого места мне теперь добираться. Да не найдется ли кусочка на дорогу?

Перфила даже оторопь взяла.

— Как ты, Гранюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдешь, коли мы с тобой кольцом через землю обрученные. Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты еще девчонкой-несмышленным бегала.

Потом обхватил в полную руку и говорит решительно:

— Никуда ты не пойдешь! Избушка у меня по нагорью поставлена. Хозяйкой будешь. Никто тебя не найдет. А кто сунется, — не обрадуется. Не обрадуется! В случае, тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно?

Глафира из-под руки не вырывается. На улыбке стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько:

— Так видно... Коли старым не укоришь да проклятья не побоишься, так я тебе... тоже через землю венчанная... до гробовой доски.

На том и сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафире пришелся. Мужик усердный да работающий, заботливый да смекалистый. И за себя постоять мог, а за жену особливо. Сперва-то поговаривали которые, она, дескать, проклятая, такую нельзя держать. Другие опять городских опасались, как бы из-за Глафиры прижима не вышло. Ну, Перфил со всеми такими столь твердо поговорил, что потом его избушку стороной обходили.

— Свяжись, — говорят, — с этим чертушком, — в могилу до времени загонит. Ничего не щадит, коли про его Глафиру кто нескладно скажет.

Прожили свой век по-хорошему. Не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали. Ребят Глафира навела... целую

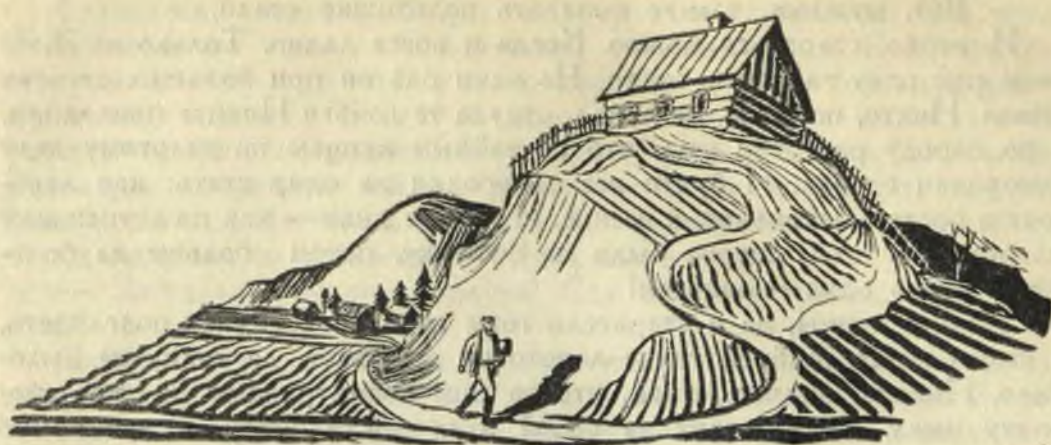
роту! Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали. Рослые да здоровые, а красотой все в мать. На что Михай Кончина строгого слова человек, и тот по ребятам сестру признал. Седой уж у ту пору был, а смирился. Зашел как-то в избу и говорит:

— Ладные у тебя, сестра, ребята. Ладные! Не тем, видно, богам скитники кадили, как тебя проклинали. Оно и к лучшему.

Как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счет потеряла. Это Перфилово да Глафирино поколение не один дом тут поставило. Завязку, можно сказать, нашему заводу сделало. Конечно, и других много было, ну, эти коренники. От них, может, и словинка про Дайку пошла.

Теперь это вроде забавки. Известно, при солнышке идешь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потемках пойдешь, — все пороги да ямины. То же и с золотом. Нынешние вон дивятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальное в отвалы сбрасывали. А по делу тому дивиться надо, как им пособило эти поперечные жилки найти, когда никто ничего по золоту не ведал, а в письменности была одна посказулька про золотого змея. С брусницынским вон золотом и того забавнее вышло. Ну, это уж в другой раз.





ЖАБРЕЕВ ХОДОК



В КОСОМ-ТО Броду, на котором месте школа стоит, пустырь был. Пустополье маленькое, у всех на виду, а не зарилась. Нагорье, видишь. Огород тут разводить хлопотно, — поту много, а толку мало. Ну, люди и обегали. Всяк выбирал себе полегче да посподручнее.

А раньше-то, рассказывают, тут жилье было. Так стрень-брень избышечка, на два оконца, передом напрочапилась, ровно собралась вперевертышки под гору скакать. Огородишко тоже, банешка. Одним словом, обзаведенье. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избышку знали.

Жил тут старатель один. Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с сединкой. Молодым впору такого дедком звать, а еще в полной силе. На работе редкий против него выдюжит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером — не задень. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали.

Этот Жабрей в одиночку больше старался, места новые искал и, случалось, находил. Придет тогда в деревню и сам скажет:

— Вот, мужики, там-то попадать золотишко стало.

И, верно, стараться можно. Когда и вовсе ладно. Только за Жабреем еще одну тайность знали. Не один раз он при больших деньгах бывал. Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Никите приходили, а по народу разговор шел, что он тайным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну статью: как лапоточки, ростом махонькие, а веские. И то еще диво — как по ступенькам на прибыль шли: сперва были по фунтику, потом больше да больше, а статья одна — лапоток!

Тайные купцы, да и старатели тоже сильно охотились подглядеть, в каком месте Жабрей такие лапоточки добывает, да толку не выходило. Никита, видишь, знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглядчиков, а как темно станет — он в лес. Найди-ко, в какое место за ночь он по лесу убежится.

К Жабреевой жене подсыл делали, а тоже зря. Жабрейха, видишь, как раз мужу под статью. Старуха, прямо сказать, колючая, без рукавиц к ней не подходи, и на разговор крутая. Кто без заделья придет, так она дальше порогу и в избу не пустит. Не успеет человек усы расправить да вымолвить:

— Здравствуй, бабушка!

А она его торопит:

— Еще что скажешь? По какому делу пришел?

Тот, понятно, курлыкает:

— Как, мол, живете-можете со старичком-то? Все ли по-хорошему?

— А так, — отвечает, — и живем: в люди не ходим, к себе не зовем, а незваного по рылу помелом.

Поговори вот с такой!

Какие бабеночки с задельем подбегали будто взаймы перехватить того-другого по хозяйству, с теми по-разному обходилась. Инной сразу отрежет:

— Не припасла про тебя и напередки ко мне не ходи!

Другой без отказа дает, что попросит. Мучки там, маслица, картошки, либо еще чего и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова все равно не скажет. Только гостыюшка пристроится посудачить, Жабрейха таз да вехотку в руки и говорит:

— Беги-ко, Степаня, домой! Ребята ведь у тебя. Дела-то побольше моего. Я вон и то мыть собралась, а ты сидишь, будто от простой поры!

Так и жили Жабрей с Жабрейхой от людей на отшибе.

Случалось, конечно, Жабрею и в артелках стараться. Это когда он новое место укажет. С почтением его принимали. Работник без укору, не то что за двоих, за троих ворочает и по золоту знающий — кто такому откажет. Только не подолгу он на людях жил. Чуть что выйдет — сейчас в сторону. На артели, известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенство какое откроется, поучить, может, кого требуется, а Жабрею это невперенос. Послушает, как народ загамит, да и выронит свое словечушко:

— Загудело, комарино болото! Слушай, кому охота, а мне не с руки!

Скажет так-то, плюнет, подхватит кайлу да лопатку, ковш да мешок за спину — и пошел. Коли получка есть, — и то не покажется.

Раз так-то ушел — и надолго. В живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троицкой воде, как все ручейки на полную силу играют, выплыл.

Год тогда, сказывают, худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе невесело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекают, к кому бы припаиться на стаканчик, да тут и увидели — по полевской дороге идет Жабрей, и все на нем новешенькое. Примета ясная — при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет.

Так и вышло. Первым делом зашел Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальничихе:

— Цеди, Ульяна, всем допьяна! Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал. Гляди — вот она!

А сам сыплет да сыплет рубли.

Народ знал, что Никита начистоту гуляет, до последнего рубля и без покору, — живо со всей деревни сбежались. Иные, конечно, с простоты: почему-де не выпить, коли наливают, а больше того с хитрости: про себя думают, не распояшется ли Жабрей, не проговорится ли о местечке, где золотые лапоточки плетут. Только Жабрей свою меру знал. Выпьет, сколько ему надо, сыпнет еще на стойку и накажет целовальничихе:

— Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам, бабам — красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют — доплачу, не допьют — твой барыш. С утра по другому расчету пойдет.

Целовальничиха рада-радехонька, на четыре стороны разворачивается: одной рукой наливает, другой — рубли загребает, Жабрею кланяется: дескать, все сделано будет, а сама мужу шепчет:

— Гони-ко, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то нехватит.

Из кабака Жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. Торгаш тоже дошлый был. Деревнешка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, из того числа, что деревенскому человеку вовсе ни к чему.

Никита из этого товару обнов наберет своей старухе. Ну, шаль козловую, как полагается, башмаки с пряжкой, шелку цельный кусок, еще что поглянется. Себе тоже обнов закупит и говорит торгашу:

— Снеси моей старухе. Никита, мол, Евсеич кланялся и велел сказать: жив, здоров, скоро домой придет. Пушай капустных пельмешков настряпает да кваску наготовит. Не меньше двух жбанов.

Торгаш убежит, а Никита в лавке сидит, дожидается. Потом спрашивает:

— Ну, что?

— Да ничего, — отвечает, — отдал.

— Что старуха говорит?

— Взяла, — отвечает, — обновы, в угол бросила, а ничего не сказала.

Никита не верит:

— Не может этого быть, чтоб мужнино подаренье без слова приняла.

Торгаш тогда и говорит:

— Три только слова и было.

— Какие, — спрашивает, — слова?

— А как приняла обновы, вздохнула и молвила: «Ох, старый дурак!»

Никита смеется:

— Верно говоришь! Старухин обычай. Все, значит, в добром здорье. Торопиться некуда. Давай ребят потешим маленько. Тащи решетку!

Торгаш уж знает дело. Притаскивает рудничную решетку и спрашивает:

— Сколько велишь навешать и каких?

— Сыпь на глазок, с верхом! Всякого сорту, только в бумажках, гляди, а голых не надо!

Торгаш, конечно, без мошенства не может. Какие конфетки подешевле, тех сыплет больше, а которые подороже — тех самую малость, а считает наоборот. Ну, Никита к тому не вяжется. Отдает деньги и выходит с решеткой на крылечко, а ребята со всей деревни сбежались. Только у крылечка не стоят, а поблизости игры завели: кто — в баб-

ки, кто — шариком, девчонки — опять в свои игры. Они, видишь, знали Жабрееву повадку: коли увидит, что его ждут, назад решетку унесет. Ребята и прихитрятся, будто ничем-ничего не знают, а просто играть сбежались.

Никита видит — не ждут его, и давай горстями во все стороны конфетки швырять. Ребята, конечно, конфетку не часто видали, кинутся подхватывать — свалка тут пойдет. Коли по нечаянности кого сшибут, либо лбами стукнутся — Жабрей ничего, — смешно ему, а коли расстервелятся и до драчишки дело дойдет, — тут зубами скрипит, бросит решетку и вымолвит:

— От комаров, видно, комарята и родятся!

Потемнеет весь — и домой. Заберется на свою горушку, построится на завалинке и заведет голосянку. И тут к нему не подходит: всякого сшибет. Одной старухе свободно.

В деревне по случаю Жабреевой гулянки шум да гам, песни поют, пляски заведут, а Жабрей сидит на горушечке да тянет одно:

— Комары вы, комары, комарино царство.

Ночью уж старуха уведет его в избу, а проспится — с утра все по порядку. Сперва в кабак, потом обнови старухе покупать, и ребятам конфетки разбрасывать. У старухи, бывало дело, полный угол обнов накопится. Потом, как денег не станет, тому же торгашу за десятую копейку сдавала. За которое плачено полсогни — за то пятерку, за которое десятка сорвана — за то рубль.

Когда у ребят дележка без драки пройдет, в тот день Жабрей до вечера по деревне гуляет. С другими старателями песни поет, пляшет тоже, а домой все-таки один идет, никого ему не надо. Если кто и вовсе подладится к Жабрею, все равно откажет:

— Друг ты мне, а на горушку ко мне не ходи! Не люблю.

Так и шла гулянка, пока все деньги не выйдут. Только на этот раз с первого дня другой поворот вышел.

Внес Никита решетку с конфетками, стал разбрасывать. А в ребятах случился парнишко один. Дениско Сирота его звали. Годами еще молоденький, а долговязый. Другие парнишки, его-то ровня, дразнили:

— Дениско, переломись-ко, вровень пойдём!

По сиротству этот парнишко давно в песковозах ходил и по росту за большого считался. Ну, все-таки молодой умок — ему любопытно поглядеть на Жабрееву гулянку. Дениско и подобрался поближе к лавочному крылечку и тоже будто с ребятами играет. Как все кинулись наподхват конфетки ловить. Дениско стоит и смотрит. Никита увидел, кричит ему:

— Ты, долган, что не ловишь?

И бросает ему целую горсть. Другие ребята налетели, а Дениско отодвинулся маленько, чтоб его с ног не сшибли. Никита тогда и спрашивает:

— У тебя, Дениско, что? Спина болит?

— Нет, — отвечает, — спина не болит, а не к чему мне это. Я, поди-ко, большой.

— А коли большой, — говорит Никита, — ступай в кабак. Выпей за мое здоровье хоть красного!

— Мне, — отвечает, — мамонька перед смертью наказывала: «До полной бороды в рот капли вина не бери, а дальше, как знаешь».

Никита удивился:

— Вон ты какой! На, нето! — и бросает ему сколько-то серебряных рублевиков. Только Дениско их не поднимает да еще говорит:

— Милостинку теперь не собираю. Вырос — свой хлеб ем.

Никита, конечно, разгорячился. Заревел на других ребяташек:

— Отойди в сторонку! Сейчас погляжу, какая у этого гордыбаки сила!

Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хватить ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит:

— Сказал — милостинку не собираю, а с собачьего бросу и по-давно.

Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку, — фунтов, сказывают, на пять, — и хлоп эту самородку под ноги Дениску, а сам кричит:

— Не хвастай через силу! Это ты у меня подымешь!

Ну, Дениско, — то ли он такой упорный пришелся, то ли цены настоящей самородку не понимал, — не поднял. Поглядел только да сказал:

— Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо.

Повернулся и пошел. Никита опамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку и кричит Дениску:

— Тебе хоть что надо?

— Ничего, — отвечает, — не надо. Поглядеть приходил, как ты перед народом удачей хвастаешь.

Никите обидно, что парнишко его укорил, а смолчал. Маленько погодя кричит вдогонку:

— Дениско, воротись-ко!

А ребята подхватили:

— Дениско, переломись-ко! Дениско, переломись-ко!

Дениско ничего, подошел спокойно. Тогда Никита и говорит ему потихоньку, чтоб другие на слышали:

— Ты, парень, прибеги-ко ко мне утречком, как вовсе трезвый буду. Может, я тебе скажу про мурашину тропку, а дальше сам за себя отвечай. Коли пустят тебя каменны губы, так салку нехитро на горячую, либо на мокрую отворотить. Тогда и лапотков добудешь.

— Ладно, — отвечает, — дядя Никита. Спасибо скажу, коли дорогу укажешь.

— Это, — говорит Никита, — не за спасибо, а за то, что жадности в тебе не видно. Давно такого присматриваю.

Поговорили так и разошлись, а больше им свидеться не довелось.

Жабрей после этого случаю сразу к себе на горушку уплелся. Потихоньку шел, вроде крепко задумался и про комаров в этот день голосянку не тянул. Видели люди, — он со старухой на завалинке сидел. Долго сидели, как молодожены какие, и о чем-то судили да дружно так. Деревенские прямо диву дались.

— Глядите-ко, Жабрей с Жабрейхой наговориться не могут. Не иначе, перед смертью.

Шутили, конечно, а так оно и вышло. Наутро прибежал Дениско к Жабрею и видит — все двери полехоньки, а в сенках и в избе все в полном разбросе: кое опрокинуто, кое перевернуто, кое в щепы разбито. Посередке избы тяжеленный лом-черемуха, а людей никого нет.

Дениско забеспокоился, побежал в деревню, рассказал, так и так, неладно у Жабреев. Народ, хоть с похмелья, сразу побежал на горушку. Стали разглядывать, как да что. По начальству дали знать. Ну, разобрать толком не могли. Одно видно — воевали тут крепко, впотемках почем зря хлестали и в голбце рылись, а одежду не пошевелили и обновы, как бросила их старуха в угол, тут и лежат. Крови не оказалось, и следов на земле около избы не видно. Место, видишь, плотик да камень, следов оно не держит. И то сказать, вся деревня сбежалась, что и было — все затоптали.

Начальство, понятно, караул к пустому месту поставило и давай народ доспрашивать, кто что сказать мог.

На то выходило, что из деревенских завинить некого: кто в ту ночь вовсе без гач пьяный лежал, кто у других на глазах был. И на то намекали, что хитники из Кунгурки приходили, потому — тамошнего тайного купца подручников в деревне видели. Многие на того купца доказывали, как он не раз людей подговаривал за Никитой подглядывать. Только разве такого завинят, коли все начальство им задарено!? На то повернули, что Дениско Сирота первый тому был

подводчик. Ему, дескать, Никита деньги и самородку показывал, и не зря этот парнишко утром тут оказался.

Подлость, конечно, а взяли парнишка в острог, да и мытарили там сколько-то годов. Купца, значит, тем выгородили и будто свое дело сделали — виноватого нашли. Привычно им так-то вертеться было.

В деревне про Дениска скорехонько забыли. Приисковый народ, известно, не больно на людей памятлив. Мало ли с кем случается сбегаться. Своих у Дениска не было, — кто о нем печалиться станет. А он сидит в остроге да думает — вот найдут Жабреев, и все по правде откроется.

Ну, все-таки Дениска выпустили. Вовсе большим он в деревню пришел. Первым делом ему охота узнать, что про Никиту с женой слышно и кто в их избушке живет. Спросил, а никто не знает, и на горушке званья от жилья не осталось. Известно, бесхозяйственный дом недолго стоит, живо его разнесут, а тут еще припомнили, что хитники в голбце чего-то искали. Ну, и давай тоже рыться. Все перерыли, а на месте Жабреева обзаведенья стал пустырь с ямами.

Дениску это обидно показалось. Вот, дескать, знающий по золоту человек был. Богатства не нажил, все людям раструсил. Места новые показывал. И старуха худого людям не делала, а только и осталось, что пустопорожнее место с ямами.

Пошел на горушку, сидит там да раздумывает. И то ему на память пришло, что Никита говорил, когда к себе звал:

«Про какую это мурашину тропку он сказывал? И что это за каменные губы?»

Думал-думал, на том решил:

«Мурашиных тропок мало ли. Кто их разберет, которую надо, а каменные губы поискать можно. Не набегу ли ненароком?»

Надумал так, да тут и углядел — у самой мурашиной тропки сидит. Тропка как тропка. Мурашики по ней ползут, только все в одну сторону, а встречных не видно. Дениску это любопытно показалось. «Дай, — думает, — погляжу, в каком месте у них хозяйство». Пошел около этой тропки, а она куда-то вовсе далеко ведет. И то диво — мурашики будто больше стают, и как где место пооткрытее, там видно, что на лапках у них вроде искорок. Что за штука? Взял одного, другого, посмотрел. Нет, ничего не видно. Глаз не берет. Пошел дальше и опять примечает: растут мураши на ходу. Опять возьмет которого в руку и давай разглядывать. Видно стало, что на каждой лапке как капелька маленькая прильнула. Дениску это вовсе удивительно, он и шагает вдоль тропки. Так и вышел на по-

лянку, а там из земли два камня высунулись, ровно к вриги исподками сложены: одна снизу, другая сверху. Ни дать, ни взять — губы.

Мурашиная тропка как раз к этим губам и ведет, а мураши как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять: такие они большие стали. А на лапках явственно разглядеть можно, как лапки надеты. Подойдут к каменным губам — и туда. Ходок, видно, есть.

Дениско подошел поближе поглядеть, и каменные губы широко раскрылись, дескать, ам! Дениско испугался, понятно, отскочил, а губы не закрываются, будто ждут, и мураши идут своей прямой дорогой прямо в эти губы, ровно ничего не случилось. Дениско осмелел маленько, подошел поближе, заглянул, что там, и видит — месте туда скатом крутым идет, вроде катушки, только самой вязкой глины. Прямо сказать, пливун, чистая салка. По этому пливуну мураши и то еле пробираются. Нет-нет, и лапки свои оставляют, только не одинаково. У иных салка сразу их снимет, и дальше тот мураш легонько идет. Другой ниже спускается и прямо на виду в росте прибывает. Вошел, скажем, в каменные губы ростом с большого жука, а шагнул дальше — вырос с ягненка, еще ниже подался — стал с барана, с теленка, с быка. Дальше и вовсе гора-горой ползет, и лапти у него, может, по пуду, а то больше. Пока лапти в салке не оставит, потихоньку идет, а как снимет все до одного, так и пойдет скользить не хуже плавунца, и в росте больше не прибывает.

Дениско понял тогда, из какого места золотые лапки приходили, только то ему невдомек, как Никита этой страсти — больших-то мурашей — не боялся. Подумал так, а мураши и стали один по одному уходить, и новых к каменным губам больше не подходит.

«Вон, — думает, — что! Перемежка, видно, тоже бывает, а вот надолго ли?»

Про лапки он так понял, что их можно прямо рукой из салки добыть. Дениску и потянуло попытать свою долю, — хоть сверху маленько порыться. Только и то смекает, как по такому крутику без каелки обратно выбраться. Он и стал искать, нет ли поблизости коряжинки либо жердинки суковатой, да и углядел в кусте бадейку. Небольшая бадейка, а широконогая. Тут дровца наготовлены, около них каелка да две лопатки: одна железная, другая деревянная.

Дениско по приискам с малых лет мытарился, понял — к чему это. Забрал лопатки, кайлу, бадейку, дровец тоже охачку на поясе прихватил, подошел к каменным губам, а они и закрылись. Как два камня один на другом лежат, и никакого ходу тут не бывало.

Запечалялся Дениско, а что сделаешь? Кайлой такие камни не разворотить. Хотел он обратно в кусты все составить, да губы опять и открылись. Широко так и будто пошевельваются — ам! ам! Ну, Дениско не струсил, раздумывать не стал — сразу вниз полез. В салке, конечно, лаптков золотых не оказалось, они ниже, в песках загрузли, только добраться до них, кто умеет, недолго. Салку, известно, у нас на горячую железную лопату берут, а того лучше, на мокрую деревянную — так блином и поддевай. Дениско живо привесился, очистил место и давай из песка золотые лапки выковыривать. Много нарыл больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стает, губы закрываются. Дениско и смекает:

— Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите на помин, другую себе — и хватит.

Надумался так — губы и раскрылись — выходи, дескать.

С каелкой по какому хочешь скату вылезти просто.

Прихватится, подтянется — и дальше. Вылез Дениско и всю орудю на старо место поставил. Один лапток, который поменьше, в сапог запрятал, а другой, точь-в-точь такой, как у Никиты видел, за пазуху сунул и сразу в Кунгурку пошел.

Нашел там тайного купца, про которого разговор был, подкараулил в тихом месте и спрашивает:

— Хочешь к паре купить?

Достал из-за пазухи лапток да и показывает из своей руки. Купец, понятно, обрадовался:

— Почем золотник?

Дениско и говорит:

— Даром отдам, коли укажешь, куда Никиту со старухой запрятал.

Купца, видно, жадность одолела, не поостерегся и говорит:

— У Мраморского разреза, в старый ширф сбросили.

— Показывай! — говорит Дениско.

Пошли. Указал купец:

— Это место!

— Получай тогда! — Дениско развернулся и хлоп купца самородкой по лбу.

Самородка-то — она фунтов на пять была. Понимай, что выйдет, коли такой штукой по лбу свистнуть да еще с полной охотой.

Вскорости этого купца нашли, и золотой лапток рядом положен — дескать, этой печатью приложено.

Потом из-за этой золотой печатки чуть всех судей не засудили. Каждый, видишь, хотел ее себе прикарманить, а другие не давали,

жаловались по начальству — такой-то, дескать, вор, грабитель, его по всей строгости судить надо. До той поры это дело тянули, пока до главного судьи не дошли. Тот, понятно, сразу решил:

— Надо, — говорит, — мне эту печатку домой свозить, кислотой опробовать, — точно ли золотая?

Увез золотой лапоток и сразу его в потайной сундук, а сам взял от старого подсвечника обломок, почистил его маленько, привез обратно и говорит:

— И рядом с золотом эта штука не лежала.

Все, конечно, видят, — на глазах мошенство сделано, да жаловаться на главного судью не посмели. А он радуется, про себя похваляется:

— Ловко я их обставил! Недаром, видно, меня главным судьей поставили.

Приехал домой и первым делом полез в потайной сундучок, а его, видно, проел червячок: ничего нет. Хвать-похвать — найти не может. Был золотой лапоток, а стала сквозная дырка. В горсть ее не возьмешь.

И Дениску тоже, сколько ни искали, найти не могли. Он, видно, в Сибирь либо куда в другое место подался.

О каменных губах маленько разговаривали, в котором то-есть месте искать их. На то намекали, что близко Денисовского рудника, только настояще не знаю.

Чего не знаю, того не знаю, выдумывать не согласен. Привычки к этому нет.





ЖИВИНКА В ДЕЛЕ



ЗТО еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бэйцы от этого Тимохи сторонились, — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовек емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь

тоже для заводского дела жгут; зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделявают, у окошка камень точат да шлифуют, а под палатами рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора позволяла, там, непременно, либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой вовсе занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха, — то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, — придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать.

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья нехватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает.

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцом колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело наведи.

Тимохе нейдет:

— На всякое, — кричит, — дерево влезу и за вершинку подержу.

Старики еще хотели его урезонить. — Вершинка, дескать, мера не надежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур, на нас не пенять, что во-время не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказа, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребяташек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну, как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь, али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелога самая малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слышал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навькнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.

Дедушко Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор.

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном, — отвечает, — топоре да привычке тут дело, а я ловкие точки выискиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точки искать. Видит — правда в нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердовому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже большая сноровка требуется.

Дедушко Нефед все это объясняет по совести, — да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пушу. Оно и ладно. Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит: «С этого боку жарче горит».

Как, — спрашиваю, — узнала?

— А вот обойди, — говорит, — кругом, — сам почувешь.

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел, — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уолго выйдег звон-звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушко Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому, — объясняет дедушко Нефед, — что ты книзу глядел, — на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремесла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак, говорит, не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушко Нефед умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посеичас в наших местах живут. Тоже которые живинку, — всяк на своем деле, — ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки наростить выше облака.





ВАСИНА ГОРА



РОВНЫМ-ТО местом мы тут не больно богаты. Все у нас горы да ложки, ложки да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.

Одна такая гора у самого нашего завода прилась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка налегке идет, и та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъему. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь, либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.

По самому гребню этой горы проходила грань: кончался наш заводский выгон и начиналась казенная лесная дача. Тут, ясное дело, загородка была поставлена, и проездные ворота имелись. Только эти

ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью.

Скотину в ту сторону пропустить хуже всего, потому — сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка, либо овечка проберется, — не найдешь ее, а скаты горы не зря звались Волчьими падами. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.

Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Ну, нашли все-таки. Из служивых был. Василием звали, а как по отчеству да по прозванию, — не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался: пришел домой на деревяжке.

Ближих родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел. Так и жил бобылем в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб нехватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по нашему говорится, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь ко кроскам налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели, — бьется мужик. Тогда общественники и говорят:

— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе. Приплачивать будем за караул.

— Почему, — отвечает, — миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.

Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: печурку, чтоб похлебку, либо кашу сварить, нары для спанья да место под окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то, что наши заводские, а и чуждедальние, кому часто приходилось ездить, либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали:

— Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало.

Дед на это одно говорил:

— Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу.

Проезжающие начинают допрашиваться, почему так, а дед Василий эти разговоры отводил:

— Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай.

Подручных ребятишек у деда Василия перебивало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы, а дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые, в самой поре, а были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна: на работу не боязливы и при трудном случае руками не разводят. Да еще заметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить и не от сиротства, либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим: моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.

Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились.

Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.

Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось: на большой дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случая достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно: подобрали приبلудного, сам увязался за хлебушком, видно, отогнать не можем. А отдашь, и вовсе люди вязаться не станут, поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было.

Ну, все-таки, сколь ни беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес, либо на сторону старик не позволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась — на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка, да и спрашивает у старика:

— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны, и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один, будто, и силы небольшой, и на возрасте, пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой — случается, по виду могучный, — вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?

Дед Василий и говорит:

— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.

Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь-честью. Только вот диво — ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят:

— Ну, как не поглядеть! Экую гору одолел, дальше и бояться нечего. Все одолею. Потому и весело мне.

Другие опять стонут:

— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо!

Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.

Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет:

— Вот видишь — гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога, и жить веселее. Ну, и слабого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма, на подметки не годится.

Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:

— Дедо, я на эту гору каждый бегом подыматься стану. Вот погляди!

Старик посмеивается:

— Ну, что ж, худого в этом нет. Может и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет.

Так вот и учил дедушко Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васиная гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды, либо по грибы, ну, и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоеет.

Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.

И посейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают, и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают:

— Вот война-то была! Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Все равно, как новый широкий путь народу открыла. Коли такое сделал, так и много больше того сделать можешь.





ДАЛЕВОЕ ГЛЯДЕЛЬЦЕ



ЗНАМЕНИТЫХ горщиков по нашим местам немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему ученые люди, академики их профессорами величали и не в шутку дивились, как они тонко горы узнали, даром что неграмотные.

Дело, понятно, не простое, — не ягодку с куста сорвать. Не зря одного такого прозвали Тяжелой Котомкой. Немало он всякого камня на своей спине перетаскал. А сколько было похожено, сколь породы перекайлено да переворочено, это и сосчитать нельзя.

Только и то сказать, этот горщик — Тяжелая-то Котомка — не из первых был. Сам у кого-то учился, кто-то его натолкнул и на дорогу поставил. В Мурзинке будто эта зацепка случилась.

По нынешним временам про Мурзинку мало слышно, а раньше не так было. Слободой она считалась. От нее и другие селенья пошли, а сама она, сказывают, в ермакову пору обосновалась, — вроде крепости по тем временам. Не раз ее сжигали да разоряли. Да ведь рус-

ский корень! Разве его кто вырвать может, коли он за землю ухватился. Мало того, что отстроится слобода, а еще во все стороны деревни выдвинет, вроде, сказать, заслонов.

Другая отличка Мурзинской слободы в том, что около нее нашли первое в нашем государстве цветное каменье. Нашел-то камни Тумашев, в государеву казну представил и награду получил. Так по письменности значит, а на деле, может, кто из слободских Тумашеву место показал. Ну, это дело давнее, никому толком неведомо, одно ясно, что с Мурзинки у нас и началась охота за веселыми галечками, — каменное горе али каменная радость. Это уж кому как любить называй.

Ремесло-то это поисковое совсем особое. Конечно, каждый норовит на камешках кусок хлеба заработать. Только есть меж поисковиков и такие, что ни за какие деньги не отдадут камешок, который им полюбится. Вроде и ни к чему им, а до смерти хранят.

— С ним, — говорят, — жить веселее.

Ну, а корысти тут и вовсе без числа. Потому около камешков в одночасье человек разбогатеть может. Таких скоробогатиков и набралось порядком в самой Мурзинке и по деревням, близ коих добыча велась. На перекупке больше наживались. Главное тут было угадать в сыром камне его настоящую цену.

Горщик, которого потом Тяжелой Котомкой прозвали, в те годы парнишкой был. Родом-то он из Колташей али из Черемисской, неподалеку от Мурзинки. Рос в сиротстве со своей бабушкой. Старушка старательная, без дела не сидела, только ведь старушечьим ремеслом — пряжей да вязаньем — не больно прокормишься. Парнишке и пришлось с малых лет кусок добывать. По сиротскому положению, ясное дело, не приходится работу выбирать: что случится, то и делал. Подпаском бывал, у богатых мужиков в работниках жил, на поденные работы хаживал. И звали его в ту пору Трошей Легоньким.

Раз Троша попал на каменные работы в горе, и оказалось, что парнишка наредкость приметливый на породу. Увидит, где пласты, и говорит:

— А я этакое же видал в том-то месте.

Проверят — правильно. И в сыром камне живо наловчился разбираться. Через малое число годов старые старатели стали спрашивать:

— Погляди, Троша, камешок. Сколько, по-твоему, он стоит?

Так этот Троша Легонькой и прижился в артели по каменному делу, только в Мурзинке ему ни разу бывать не приходилось.

А там тоже заметили Трошу. Присмотрел самоглавный тамошний богатей. Он, видишь, больше всех на перекупке раздулся, а остарел, плохо видеть стал, оплошка в покупке пошла. Он и придумал:

— Возьму-ка я этого Легонького к себе в дом да для верности женю на Аниске, а то вовсе изболталась девка, сладу с ней нет.

Дочь-то у него, и верно, полудурье была да и не вовсе в порядке себя держала. Ни один добрый парень из своих мурзинских никогда бы на такой не женился. Вот и стали подманывать со стороны.

У богатых, известно, пособников всегда много. Эти поддужные и давай напевать Троше про невесту:

— Краля писаная! С одного боку тепло, с другого того лучше. Характеру веселого, и одна-разъединая дочь... По времени полным хозяином станешь. А ведь дом-то какой! По всей округе на славе!

Бабушке Трошиной, видно, надоело всю жизнь в бедности колотиться, она и поддакнула:

— Коли люди с добром, почему нам отворачиваться?

У Троши по этой части настоящей думки не было, он и говорит:

— Раз пришла пора жениться, надо невест глядеть.

Поддужные радехоньки, что парень этак легонько на приманку пошел, поторапливают:

— Тогда и тянуть с этим нечего. В воскресенье приезжай с бабушкой. Смотрины устроим, как полагается. Об одежде да справе не беспокой себя. Там знают, что из сиротского положения ты. Взыску не будет.

Уговорились так-то. Сказали Троше, в котором доме ему сперва остановиться надо, и уехали. Как пришло воскресенье, Троша оделся почище да утречком пораньше и пошел в Мурзинку, а бабушка отказалась:

— Еще испугаются меня, старухи, и тебе доли не будет! В самоцветах разбираться научился, неуж невесту не разглядишь?

Трошу в те годы не зря Легоньким звали. Он живо дошагал до Мурзинки. Нашел там дом, в котором ему остановиться велели. Там, конечно, приветили, чайком попили и говорят:

— Отдохни покамест, потому смотрины вечером будут.

Парень про то не подумал, что тут какая уловка есть, а только отдыхать ему не захотелось. «Пойду, — думает, — погляжу Мурзинку».

Камешки тогда по многим деревням добывали. В Южаковой там, в Сизиковой, по всей речке Амбарке, а все-таки Мурзинка заглавное место была. Тут и самые большие каменные богатеи жили и старателей много считалось.

В числе прочих старателей был Яша Кочеток. Груздок, как говорится, из маленьких, а ядреный, глядел весело, говорил бойко и при случае постоять за себя мог. От выпивки тоже не чурался. Прямо сказать, этим боком хоть и не поворачивай, не тем будь помянут покойна головушка. В одном у него строгая мера была: ни пьяный, ни трезвый своего заветного из рук не выпустит. А повадку имел такую. Все камешки, какие добудет, на три доли делил: едовую, гулевою и душевную. В душевную, конечно, самая малость попадала, зато камень редкостный. Деньги, которые за едовую долю получал, все до копейки жене отдавал и больше в них не вязался: «Хозяйствуй, как умешь!» Гулевые деньги себе забирал, а душевную долю никому не продавал и показывать не любил.

— Душа — не рубаха, что ее выворачивать! Под худой глаз попадет, так еще пятно останется, а мне охота ее в чистоте держать. Да и по делу это требуется.

Начнут спрашивать, какое такое дело, а он в отворот:

— Душевное дело — каменному родня. Тоже в крепком занорыше сидит. К нему подобраться не столь просто, как табаку на трубочку попросить.

Одним словом, чудаковатый мужичок.

Про него Троша дома слышал, и про то ему было ведомо, что в Мурзинке чуть не через дом старатели жили. Троша и залюбопытствовал: не удастся ли с кем поговорить, как у них тут с камешками, не нашли ли чего новенького. Троша и пошел разгуляться, людей поглядеть, себя показать. Видит, в одном месте на бревнах народу многонько сидит, о чем-то разговаривают. Он и подошел послушать.

Как раз оказались старатели, и разговаривали они о своем деле. Жаловались больше, что время скупое подошло: на Ватихе давно доброго занорыша не находили, на Тальяне да и по другим ямам, тоже большой удачи не было. Разговор не бойко шел. Все к тому клонился — выпить бы по случаю праздника, да денег нет.

Тут видит Троша: подходит еще какой-то новый человек. Один из старателей и говорит:

— Вон Яша Кочеток идет. Поднести, поди, не поднесет, а всех расшевелит да еще спор заведет.

— Без того не обойдется, — поддакнул другой, а сам навстречу Якову давай наговаривать:

— Как, Яков Кирьяныч, живешь-поживаешь со вчерашнего дня? Что по хозяйству? Не окривел ли петушок, здорова ли кошечка? Как сам спал-почивал, какой легкий сон видел?

— Да ничего, — отвечает, — все по-хорошему. Петух заказывал тебе по-соседски поклончик, а кошка жалуется: больно много сосед мышей развел, — справиться сил нет. А сон и точно занятый видел. Будто в Сизиковой бог по дворам с казной ходил, всех уговаривал: «Берите, мужики, кому сколько надо. Без отдачи! Лучше, поди-ка, это, чем полтинничные аметистишки по одному из горы выковыривать».

— Ну и что? — засмеялись старатели.

— Отказались мужики. «Что ты, — говорят, — боже, куда это гоже, чтоб незаробленное брать! Непривычны мы к этому». Так и не сошлось у них.

— Ты скажешь!

— Сказать просто, коли язык не присох.

Тут, который сперва-то с Кочетком заговорил, — он, видно, маленько в обиде за петуший поклон оказался, — он и ввернул словцо в задор.

— И понять нехитро, что у тебя всегда одно пустобайство.

Кочеток к этому и привязался:

— По себе, видно, судишь! Неуж все на даровщину польстятся? За кого ты людей считаешь? К барышникам приравнял! Совесть-то, поди, не у всякого застыла.

Другие старатели ввязались, и пошло-поехало, спор поднялся, потому — делу близкое. Бог хоть ни к кому с казной не придет, а богатый камешок под руку попасть может. Стали перебирать своих богатеев — кто от какого случая разъелся. Выходило, что у всех не без фальши богатство пришло: кто от артели утаил, кто чужое захватил, а больше того на перекупке нажился. Купит за пятерку, а продаст за сотню, а то и за тысячу. Эти каменные барышники тошней всего приходились старателям. И про то посудачили, есть ли кому позавидовать из богатеев. Тоже вышло — некому. У одного сын дурак дураком вырос, у другого бабенка на стороне поигрывает. Того и гляди, усоборует свсего мужика, и сама каторги не минует, потому дело явное и давно на примете. Этот опять с перепоею опух, на чело века не походит. Про невесту хваленую Троша такого наслушался,

что хоть уши затыкай. Потом, как за ним прибежали: пора, дескать, на смотрины итти, — он отмахнулся:

— Не пойду! Пускай свой самоцвет кому другому сбывает, а мне с любой придачей не надо.

Поспорили этак старатели, посудачили и к тому пришли: нет копейки надежнее той, коя потом полита. Кабы только этих копеек побольше да без барышников! Известно, трудовики по-трудоному и вывели. Меж тем темненько уж стало. Спор давно на мирную беседу повернул. Один Кочеток не унимается.

— Это, — кричит, — разговор один! А помани кого боговой казной либо камешком в тысчонку-две ростом, всяк руки протянет!

— Ты откажешься? Сам, небось, заветное хранишь, продешевить боишься!

Кочеток от этого слова весь задор потерял и говорит совсем по-другому:

— Насчет моего заветного ты напрасное слово молвил. Берегу не для корысти, а для душевной радости. Поглядишь на эту красоту — и ровно весной запахнет. А что правда, то правда: подвернись случай с богатым камешком, — не откажусь. Крышу вон мне давно перекрыть надо, ребятишки разуты-раздеты. Да мало ли забот!

Другой старатель подхватил:

— А я бы лошадку завел. Гнеденькую, как у Самохина. Пускай не задается!

— Мне баню поставить — первое дело, — отозвался еще один.

За ним остальные про свое сказали. Оказалось, у каждого думка к большому фарту припасена.

Кочеток на это и говорит:

— Вот видите: у каждого своя корысть есть. Это и мешает нам найти дорогу к далевому глядельцу.

Старатели на это руками замахали и один по одному расходиться стали, а сами ворчат:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Далось ему это далевое глядельце!

— Слыхали мы эту стариковскую побаску, да ни к чему она!

— Что ее — гору-то — насквозь проглядывать! Тамошнего богатства все едино себе не заберешь. Только себя растравишь!

— Куда нам на даль глядеть! Хоть бы под ногами видеть, чтоб нос не разбить.

Разошлись все. Пошел и Кочеток домой, а Троша с ним рядом. Дорогой Яша спрашивает у парня: чей да откуда, каким случаем в Мурзинку попал, какие камешки находить случалось, по каким местам да приметам. Троша все отвечает толково и без утайки, потом и сам спрашивает:

— Дядя Яков, о каком ты далеком глядельце поминал и почему это старателям нелюбо показалось?

Яков видит: парень молодой, к камешкам приверженность имеет и спрашивает не для пустого разговору, доверился ему и рассказал:

— Сказывали наши старики, что в здешних горах глядельце есть. Там все пласты горы сходятся. А далевым оно потому зовется, что каждый пласт, будь то железная руда али золото, уголь али медь, дикарь-камень али дорогой самоцвет, насквозь видно. Все спуски, подъемы, все выходы и веточки заприметить можно на многие версты. Глядельце это не снаружи, а в самой горе. Добраться до него человеку нельзя, а видеть можно.

— Как так?

— А через терпеливый камешок.

— Это еще какой? — спрашивает Троша.

— Тут, видишь, штука такая, — объясняет Кочеток. — Глядельце открывается только тому, кто себе выгоды не ждет, а хочет посмотреть красоту горы и народу сказать, что где полезное лежит. А как узнаешь, что человек о своем не думает? Вот и положено такое испытание. Найдешь камешок, который тебе больше других приглянется, и храни его. Не продавай, не меняй и даже в мыслях не прикидывай, сколько за него получить можно. Через такой камешок и увидишь далевое глядельце, как к глазу тебе его поднесут. Не сразу, понятно, такой камешок тебе в руки придет. Не один, может, десяток накопить придется. Терпенья тут требуется. Потому камень и зовется терпеливым. А какой он, этот камешок, цветом — голубой ли зеленый, малиновый ли красный, — это неведомо. Одно помнить надо, чтоб его какой своей корыстью не замутить.

Почему старателям нелюбо слышать разговор об этом? По моему понятию, тут вот что выходит. Трудовому человеку, ежели он не хитник, не барышник, охота, поди, поглядеть на красоту горы, а всяк лезет в яму с какой-нибудь своей думкой. Слышал вон разговор: кому лошадь нужна, кому баня, кого другая нужда одолевает. Ну и досадают, что им даже думка о далеком глядельце заказана.

Тут Кочеток вовсе доверился парню и рассказал:

— У меня вон есть терпеливые камешки, да не действуют. Запутал, видно, их своими заботами о том, о другом. Ты парень молодой, к камешкам приверженный, вот и запомни этот разговор. Может, тебе и посчастливит — увидишь далевое глядельце.

— Ладно, — отвечает, — не забуду твои слова.

В этих разговорах они подошли к кочетковой избушке. Троша тогда и попросил:

— Нельзя ли, дядя Яков, у тебя переночевать. Больно мне неохота к этим богатеесвым-то хвостам ворочаться, а итти домой впотемках неподручно.

— Что ж, — говорит Яков, — время летнее, в сенцах места хватит, а помягче хочешь, ступай на сеновал. Сена хоть нелишка, а все-таки есть.

Так и остался Троша у Кочетка ночевать. Забрался он на сеновал, а уснуть не может. День-то у него беспокойный выдался. Расстрожило парня, что чуть оплошку не сделал с хваленной-то невестой. Ну, и этот разговор с Кочетком сильно задел. Так и проворочался до свету. Хотел уж домой пойти, да подумал: «Нехорошо выйдет, надо подождать, как хозяева проснутся». Стал поджидать да и уснул крепко-накрепко. Пробудился близко к полудню. Спустился с сеновала, а во двор заходит девчонка с ведрами. Ростом невеличка, а ладная. Ведра полнехоньки, а несет, не сплеснет. Привычная, видать, и силу имеет. Троше тут поворот судьбы и обозначился. Это ведь и самый добрый лекарь не скажет, отчего такое бывает: поглядит парень на девушку, она на него взглянет, и оба покой потеряют. Только о том и думают, как бы еще ненароком встретиться, друг на дружку поглядеть, словом перемолвиться, и оба краснеют так, что всякому видно, кто о ком думает.

Это вот самое тут и случилось: приглянулась Троше Легонькому кочеткова дочь Доня, а он ей ясным соколом на сердце пал.

Такое дело, конечно, не сразу делается. Троша и придумал заделье, стал спрашивать у девчонки, в каком месте отец старается. Та обсказала все честь-честью, Троша и пошел будто поглядеть. Нашел по приметам яму, где Кочеток старался, и объяснил, зачем он пришел, и сам за каелку взялся. Потом, как зашабашили, спрашивает у артельщиков, нельзя ли ему тут остаться на работах. Артельщики сразу приметили, что парень старательный и сноровку по каменной работе имеет, говорят:

— Милости просим, коли уговор тебе наш подойдет, — и рассказали, с каким уговором они принимают в артель.

Парень, понятно, согласился и стал работать в этой артели, а по субботам уходил в Мурзинку вместе с Кочетком. У него как постой имел. Сколько так прошло, не знаю, а кончилось свадьбой. Гладенько у них это сладилось. Как свататься Троша стал, Кочеток с женою в одно слово сказали, что лучше такого жениха для своей Донюшки не ждали. И вся артель попировала на свадьбе. К тому времени как раз яма их позабавила: нашли хороший занорыш, и у всех на гуле-вые маленько осталось.

Трошина бабушка уж в обиде была, что внучек с богатой женой забыл старуху. Хотела сама в Мурзинку итти, а Троша и объявился с молодой женой, только не той, за которой пошел. Рассказал бабушке про свою оплошку с богатой невестой, а старуха посмеивается.

— Вижу, — говорит, — что и эта не бесприданница. Жемчугов полон рот, шелку до пояса и глазок веселый, а это всего дороже. В семейном положении главная хитрость в том, чтоб головы не вешать, коли тебя стукнет.

С той поры много годов прошло. Стал Троша Легонький знаменитым горщиком и звали его уж по-другому — Тяжелой Котомкой. Немало он новых мест открыл. Работал честно, не хитничал, не барышничал. Терпеливых камешков целый мешок накопил, а далевого глядельца так увидеть ему и не пришлось.

Бывало, жаловался на свою незадачу Донюшке, а та не привыкла унывать, говорит:

— Ну, ты не увидел, может внуки наши увидят.

Теперь Трофим Тяжелая Котомка — глубокий старик. Давно по своему делу не работает, глазами ослабел, а как услышит, что новое в наших горах открыли, всегда дивится:

— Сколь ходко ныне горное дело пошло!

Его внук, горный инженер, объясняет:

— Наука теперь, дедушка, не та, и главное — ищем по-другому. Раньше каждый искал, что ему надо, а ныне смотрят, что где лежит и на что понадобится может. Видишь: вон на карте раскраска разная. Эта глина для кирпичного завода, тут руда для домны, здесь место для золотого запаса, тут уголек хороший — для паровозных топков, а это твоя жила, которую на Адуе открыл, вынырнула. Дорогое место!

Старик смотрит на карту и кивает головой: так, так. Потом, хитренько улыбнувшись, спрашивает шепотом:

— Скажи по совести, далевого глядельца нашли? В котором месте? — Внук тоже улыбается:

— Эх, дед, не понимаешь ты этого. Тридцатый уж год пошел, как твое далевое глядельце открыто всякому, кто смотрит не через свои очки. Зоркому глазу через это глядельце не то что горы, а и будущие годы видно.

— Вот-вот, — соглашается старик. — Правильно мне покойный тестюшка Яков Кирьяныч сказывал: в далевом глядельце — главная сила.





КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК



III

Е ОДНИ мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом возгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выдывали подходяще. Такие слышь-ко, штучки, что диву дашься: как помогло.

Был в ту пору мастер Прокопич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопичу парнишек на выучку.

— Пушай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него

с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гожд этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьяча.

— Не гожд, так не гожд... Другого дадим... — и нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку. Спозаранку ревут, как бы к Прокопьячу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все-таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьячу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гожд этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гожд да не гожд, когда гожд будет? Учи этого...

Прокопьяч, знай свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьячем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьяч их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконожкий, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку — платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — на вытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенья, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, по началу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все-таки не отдали — шибко жидко место, на неделю нехватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гош пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконый... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаше. Старику-пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так об-сказали. Ну, из завода тоже побежали — поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчиьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Дани-

лушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все-таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретий — молчит. Палач тут и расстервенился, давай польсать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слышали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Вместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав да корешков, да цветков всяких у ней засушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывають?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слышал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковые вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить

стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушко призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.

Прокопич поглядел на него, да и говорит:

— Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденский.

— Ну, дело ваше, — говорит Прокопич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришел Прокопич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопич, знай, покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь — а про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками, — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечером Прокопич сам управлял, что ему надо.

Посли, Прокопич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, пожился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все-таки вскорости уснул. Прокопич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну, и глазок. Ну, и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопья своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любитесь, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопья забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отравка, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туюсочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопья говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопья Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопья справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопья, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопью тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них

разговор. То, другое Прокопичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я...» — Прокопич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко отвечает:

— В ученьи, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хватя его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — да за ухо и повел к Прокопичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда скленть, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево: Одним словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопичу:

— Этот, видно, гожа тебе пришелся?

— Не жалуясь, — отвечает Прокопич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке не весело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьяча даже слезы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкапулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустьяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змею из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьяча, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьяч тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьяч пойдет, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все-таки разумел грамоте. Прокопьяч ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по-старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Одним словом, сухота девичья. Прокопьяч уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьевич выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить, али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьевич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьевич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьевич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай — не делай, а срок отбивай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьевичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьевича брать — может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьевичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьевичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова

начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, да куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертись. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда топориться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе, либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и заговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеда: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопъич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пушай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопъичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопъич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопъичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашку кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопъич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходитесь парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Заялся Данилушко чашей. Работы в ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопъич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопъич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопъич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали

сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушкой звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любои мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки...

Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слышал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы. Прокопъич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопъич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно свое:

— погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... У Змеиной горки.

Глядит Данилушко, — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко, — женщина какая-то чуть видна, как туман голуленький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за шутка? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопич помалкивает. Может, уgomонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не дельвал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба приглась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи

все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорошивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит. — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попробуй. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — про Прокопчыча тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чаёт, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные,

которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушко к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьянная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данилас-мастер, поглядел? — спрашивает хозяйка.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушко ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселье принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко без обряда невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопъич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопъича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопъич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопъич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопъичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в серединку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загибнул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.





ГОРНЫЙ МАСТЕР



КАТЯ, — Данилова-то невеста, — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов: — Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит.

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на-смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит, — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ко я в Данилушкину избу жить. Вовсе Прокопич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопич что? Ему по душе пришлось.

— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слышал.

Ну, она все-таки присматриваться к Прокопичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настоящее. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копсечно, а все разоставок при случае.

Прокопич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в горе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить станет.

— Не боюсь, — отвечает, — этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика, беспрременно, в доме надо. Неровен час, — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеется значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопьяча камня, конечно, много было. Только Прокопьяч до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить, на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы да и от Прокопьяча она слыхала, что они у Зменной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, — она и не сторожится. Так слезы на землю и капают. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень некрепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, — ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась.

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьячевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли

к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

— Заходи, нето. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты, — говорят, — без шуток!

— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни, хоть пьяные, а видят — дело нешуточное. Девка, возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пушай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, все-таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в сброс, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбывать поделку. Прокопич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.



Детская Центральная Библиотека
г. Свердловск

«Спрошу там, будут ли напередки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопья поделку принимал, и заявила прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твое право, не знаячи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почему сдаешь?

Катя слыхала от Прокопья цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты! Что ты! Таковую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьючу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я, — отвечает, — от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

— Нет, — отвечает, — моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется, — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся, — в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узору еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится:

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. — Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьюч либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит, — Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду, — версты, поди, за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто больше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул,—и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче. Туда солнышко пришло. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вон она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой итти.

Итти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскрыется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все-таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился, — посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную, — отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам за Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла, с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сестры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазило мне — видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватила, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят, — Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное, да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:

«Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: — Там не видно?

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его!» Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери, да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась: — Данилушко!

— Подожди, — говорит Хозяйка, — и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: — Там не видно?

Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну, и отошли.

«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел. Кате вон только сказался.

— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?

— Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлось, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.

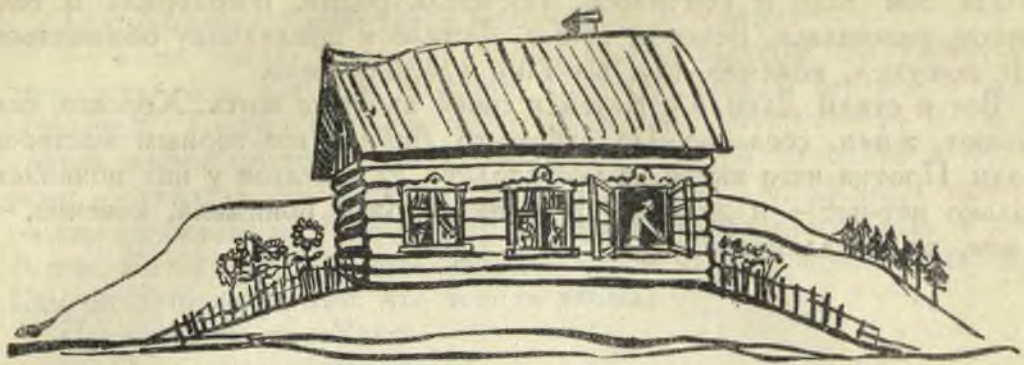
Тут братья-сестры к Кате приступить стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, скажут, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, — о чем, да помалкивала.





ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА



УДАНИЛЫ с Катей, — это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, — ребятшек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец, знай, похохатывает:

— Таксе, видно, наше с тобой положенье.

Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятки, — я так замечал, — злые выходят при таком случае, а этот ничего — веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?

Отец с матерью и те частенько покрикивали:

— Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

— Митяйко, — не заметил, куда я воробы поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жалчее, и сапожешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлось.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожешки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

— Что это у Катерины за ребята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.

А это все Митюнька — главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай, — говорит, — подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье — рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать — он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал, знай, слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое ребятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: — идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видачь, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох!

Потом, видно, провздохался и заревел медведем:

— Это что? А? — А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испугались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает.

Тот заладил свое, недоладом орет:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел, да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличомхватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р!

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин не твердого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали — может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел:

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

— А ты, — кричит, — не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несурразица и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, — не до каменной поделки. Впору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а ребятам хуже всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал — сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают:

— И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведется. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить — пыли не продохнешь, щебенку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит. Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.

Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал — парнишечко смышленный и к работе не ленив.

Гранильщик этот так себе, средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на все установ имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких шерловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живсе выходит.

Напоследок прямо объявил:

— Гляжу я, парень, щибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Еще посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая. Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, — один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая, и груз невелик, — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому несладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а все в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожнешек вышло.

Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, инструментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:

— Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить. — Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь,

да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не вовсе годится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает:

— Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука, — с кольцом на пальце и в зарукавье, — и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наваждение какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место устоялся, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодных веточки, черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял, постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему милее пришелся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила:

«Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слышал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал, и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да еще, где надо, желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонехонькие пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой яголке ровно зернышки видно, и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду, и черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставлял. Посыкался отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаше всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косою поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся:

— Еще на-смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестов с наказом:

— Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархотну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней сделано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера все поворотил:

— Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насаждал четвергов неделю, а то бы я разве посмел.

Барин, знай, хрипит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.

«Это тот... в сапогах-то который...»

— Как ты смел?

С палкой на Митюху кинулся.

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал, прямо говорит:

— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрипит:

— Я тебе покажу...

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, кому полюбиться, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели, — Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее.

И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялася, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что ее найти легче, потому — далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей ее наступали:

— Указывай место!

А толку все-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели, — отступили. А барин еще сколько-то задыхался, все-таки вскорости его жиром задавило.





ЖЕЛЕЗКОВЫ ПOKPЫШКИ



ЕЛО это было вскорости после пятого году. Перед тем, как войне с немцами начаться.

В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да тоже не часто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупать. А контора, понятно, не для здешних

мастеров старалась. Так и выходило: что найдут, то и уплывает за границу.

Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает: над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешевкой торговали. Так пустой камешок на немецкий лад гнали: было бы пестренько да оправка с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи. Кончил поделку, покурил да сплюнул и принимайся за другую. Одно слово, пустяковина, базарский товар. Глядеть тошно, кто в этом деле понимает.

Ну, все-таки старики, коих смолоду малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то: и камешок добывали и покупателя с понятием находили.

Один такой в нашем заводе жил, Евлахой Железком его звали. Еще слух шел, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали.

Вот будто подошел какой-то большой царицын праздник. Не просто именины али родины, а, сказать пестерешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее.

У царей, известно, положение было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить — один поставщик волокет, закусить придумал — другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей. В своем деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным камням содержал, на обе столицы широкую торговлю вел, и мастера у него были первостатейные.

Призывает этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивленье. Фабержей, понятно, кланяется да приговаривает: «будет сготовлено», а сам думает: «вот так загвоздка!» Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить, только тут дело вышло не простое. Брильянтами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнехонек сундук набит, и камни самого высокого сорту. Тонкой гранью либо узором тоже не проймешь, потому — люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после пятого году камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бере-

дило. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали, как она с царем кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему, а только с пятого году к царице с красным камнем и не подходи — во всю голову завизжит, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше, известно, спросы да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были? Тоже кому охота в такое дело вляпаться!

Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить, и чтоб красненького в подарке и званья не было. Думал-думал, пошел со своими мастерами посоветоваться. Обсказал на чистоту и спрашивает:

— Как располагаете?

Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит:

— На мое понятие, тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы: самому вислоносому дураку покажи, и тому весело станет.

Хозяин, конечно, оговорил старика: не к чему, дескать, о вислоносых дураках поминать, коли разговор идет о царском подарке, за это и подтянуть могут, а насчет камня согласился:

— Верно говоришь. Малахит, пожалуй, к такому случаю подойдет.

Другие мастера сомневаются:

— Не найдешь по нынешним временам доброго камня.

Ну, хозяин на деньги обнадежился.

— Коли, говорит, в цене не постоять, так любой камешок достать можно.

На этом и сговорились: будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, какие полагаются, тут же придумали.

Сказано — сделано. В тот же день Фабержей своего доверенного в наши края послал и наказ ему дал.

— Денег не жалея. Только бы камень настоящий и спокойного цвету!

Приехал этот Фабержеев доверенный и давай искать. Первым делом, конечно, на Гумешки. Тамошние камнерезы наотрез отказали — нету доброго камня. В Тагил сунулся — есть кусочки, да не того сорта. В заграничной конторе через подставного человека наведалься. Только разве там продадут, коли сами крохами собирали. Совсем приуныл доверенный, да, спасибо, один горщик надоумил:

— Поезжай-ко ты к Евлахе Железку. У этого беспрерывно камень имеется. Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, что все здешние купцы по каменному делу, да и в заграничной конторе неделю кулаками махали, ногами топали да грозились:

— После этого пусть Евлаха со своей поделкой и на глаза не показывается. За пятак не примем!

А Евлаха посмеивается да ответный поклончик послал:

— Рад стараться с жульем не вязаться. Теперь еще, поди-ко, не забыл, как таким кланяться доводилось. Больше этого не будет. Кому надо, пускай сам ко мне за камешком волокется, а я еще погляжу — кому удружить, кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остарел, а еще так могу по заливку дать, что который и с каменной десятипудовой совестью, а легкой пташкой за ворота вылетит.

Фабержев доверенный, как услышал это, забеспокоился, спрашивает:

— Видно, этот Евлаха в деньгах не нуждается? Богатый сильно?

— Нет, — отвечают, — богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублем не сманишь, а коли интерес поймает, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.

Доверенному полегче стало. «Есть, — думает, — чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются». И не ошибся в расчете. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился, спросил только:

— Какой величины камни и какой узор надо?

Доверенный объяснил, что крышки по дольнику должны быть не меньше двух четвертей, поперек — четверть с малым походом, а камни желательно со своим узором. С таким, значит, чтоб на обои ничуть не походило.

Евлаха говорит:

— Ладно. Найдется такой камень. Приезжай через неделю.

И цену назначил — по две сотни за штуку. Доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел еще поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был, сразу обрезал:

— Сказал — приезжай через неделю, тогда и разговор будет, а то о чем нам у пустого места судить.

Приехал доверенный через неделю, — готовы крышки, и не две, а четыре штуки. Все, понимаешь, как вешняя трава под солнышком,

когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени-то и ходят. И у каждой крышки свой узор. Ни один завиток-плетешок полной сходственности не имеет, а все-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, какие крышки парой приходятся. Одним словом, мастерство.

Разложил Евлаха свою поделку.

— Выбирай любую пару!

Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашел никакого изъяну, полюбовался узором и говорит:

— Покупаю все.

— Что ж, — отвечает, — бери, коли надо. Плати деньги.

Доверенный поскорее рассчитался по уговору — и домой. Мастера Фабержеевы похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчет малахиту, посомневался маленько.

— Вроде, — говорит, — сделанный камень, а не натуральный. Ну, руками сделан.

Другие мастера засмеялись — выдумывает старик, хочет себя выше всех поставить, а хозяин прямо объявил:

— Ежели и сделанный, так не хуже настоящего, а это в мастерстве еще дороже.

Ну вот, изготовили альбом на удивленье. Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил до его приказу эти крышки в дело пускать. Так они и лежали у Фабержея в запасе и долежали до того году, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по бриллиантовой плавке отличался. Петергофским мастерам по гранильному и камнерезному делу да и Фабержеевым тоже охота была этого приезжего кое о чем поспросить. Вот они ходили за ним, все едино, как женихи за невестой, угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер Евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул, да и говорит в том смысле:

— Ловко, дескать, вашим-то! Режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит.

Наши мастера объясняют, что дело не столь просто, потому — камень из кусочков складывают.

— Про это, — отвечает, — знаю. Дело, конечно, мешкотное, а все-таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узору камешок имеется.

Один мастер на это возьми и скажи:

— У нас на фабрике насчет этих крышек еще спор был: из природного они камня али из сделанного.

Французского мастера такими словами будто подстегнуло: всю степенность потерял, забегал, засуетился, спрашивает: кто так говорил? почему? какие приметки сказывал? чем дело решилось? А пуще того добивался, где тот мастер живет, который крышки делал. Дивился, понятно, что никто об этом толком сказать не умеет. Одно говорят, — доверенный привез с какого-то завода. Сказывал, что мастер — мужик с пружинкой: не по месту заденешь, так и по лбу стукнуть может, а как прозвание мастеру — не говорил. Надо, дескать, у этого доверенного и спросить, только он в отлучке по хозяйским делам.

На другой день приезжий мастер прибежал к Фабержею на фабрику и давай опять про крышки спрашивать. Старый малахитчик не потаился, сказал, в чем сумленье поимел. Другие мастера опять заспорили, всяк свое доказать желает. Тут сам Фабержей прибежал, послушал, пострекотал с приезжим по-своему, по-французскому, и велел принести запасные крышки.

— Чем, — говорит, — попусту время терять, давай-ко отпилим у крышек правые уголышки, которые на волю, да опробуем их, как следует. Крышкам от того изъяду не будет, потому как можно на тех местах закругленье дать, либо их украшеньем прикрыть, зато в точности узнаем, какой это камень: природный али сделанный?

Живо опилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на размол, по весу. Одним словом, всяко старались, а до дела не дошли. На то вышло, что состав малахитовый, а полностью сходства нет. К тому все-таки склонились — не зря старик-малахитчик сомневался: что-то не так.

Французский мастер в этом деле больше всех старался и книжки какие-то притащил, по ним глядел. А как вышло это решение, что камень сделанный, сейчас в контору побежал. Там, дескать, беспрерменно фамилия мастера должна быть. В конторе, верно, расписка оказалась: получено-де за четыре малахитовые доски такой-то меры две тысячи рублей, и крючок вроде подписи поставлен, даром что Евлаха грамоте не разумел, а ниже писарь подписался, и волостною печатью шлепнуто. Доверенный, известно, по правилу воровал: Евлахе заплатил восемь сотен, писарю сунул одну либо две, остаток себе в карман.

Послали этому доверенному телеграмму, чтоб полное имя и местожительство мастера дал, который крышки на царский альбом делал. Доверенный, видно, испугался, не открылось ли мошенство, — не отвечает. Другую телеграмму послали, третью — все молчит. Тогда хозяин сам ему строгое письмо написал, дескать, что это такое? Как ты смеешь меня перед приезжим гостем конфузить? Тогда уж

доверенный отписал — завод такой-то, мастера там все знают, а как его полное имя — не упомянет, заводские больше зовут его Евлахой.

Как получили это письмо, француз живенько собрался — и на поезд. Из городу прикатил на тройке, остановился на ямской квартире и первым делом спрашивает, где мастер по малахиту живет. Ему сразу сказали — в Пеньковке, пятые или там девятые ворота от большого заулка направо.

На другой день этот приезжий пошел, куда ему сказывали. Одежда, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента по ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали. Ребята, понятно, сбежались, дивятся на этого барина в белой шляпе.

Вот дошел француз до Пеньковки. Видит — улица не из тех, где добрые дома стоят. Посомневался, спрашивает:

— Где тут мастер живет, который по малахиту работает?

Ребята рады стараться, наперебой кричат, пальцами показывают — вон-де в той избе дедушко Евлампий проживает.

Француз поглядел, вроде как удивился, все-таки в ограду зашел. Видит — на крылечке сидит старик: из себя рослый, на лицо тончавый и похоже — хворый. Седая борода лопатою, и маленько она зеленым отливает. Одет, конечно, по-домашнему: в тиковых подштанниках, в калошах на босу ногу, а поверх рубахи жилеточка старенька, вся в пятнах от кислоты.

Сидит этот старик и ножичком вырезывает из сосновой коры что-то, а парнишко, видно, внучонок, наговаривает:

— Ты, дедо, сделай, чтобы лучше Митюнькиного наплавочек был. Ладно?

Домашние, какие в ограде на то время случились, забеспокоились, а Евлаха сидит себе, будто его дело не касается. У него, видишь, повадки не было перед городскими заказчиками лебезить, в строгости их держал.

Заграничный мастер постоял у ворот, погляделся, подошел ко крылечку, снял свою белую шляпу и спрашивает по всей французской вежливости.

Дескать, дозвольте спросить, можно ли видеть каспадин мастер Ефляк, который делает из малякит.

Евлаха слышит по разговору, — чужеземный какой-то пришел — и говорит дружественно:

— Гляди, коли надобность имеется. Я вот и есть мастер по малахиту. На весь завод один остался. Старики, видишь, поумирали, а молодые еще не дошли. Только, конечно, меня не Фляком зовут, а попросту Евлампий Петрович, прозваньем Железко, а по книгам пишушь Медведев.

Француз, конечно, понял с пятого на десятое, а все-таки головой замотал, перчатку зеленую сдернул, здоровается с Евлахой за руку, а сам наговаривает в том смысле, что напередки, дескать будем знакомы. Простите-извините, не знал, как назвать, звеличать. И про себя тоже объяснил, что он мастер по брильянтовому делу.

Евлаха похвалил это.

— Что ж, — говорит, — камешок ничем не похаеть. Недаром он самой высокой цены, потому — глаз веселит. Известно, всякому камню свое дано. Наш вон много дешевле, а в сердце весну делает, радость человеку дает.

Француз опять головой мотает и по-своему лепечет: «Рад-де побеседовать. Нарочно для того из французской стороны приехал». А Евлаха пошутил:

— Милости просим, коли с добрым словом, а ежели с худым, так ворота у меня не заперты, выйи свободно.

Повел Евлаха приезжего в избу. Велел снохе самоварчик сгоношить, полштофа на стол поставил. Одним словом, принял гостя по-хорошему. Побалакали они тут, только заграничный мастер ту линию гнет, чтобы мастерскую у Евлахи поглядеть. Евлахе это подозрительно показалось, только он виду не подал и говорит:

— Отчего не поглядеть? Не фальшивы монетки, поди-ко, делаю. Поглядеть можно.

Ну, вот. Повел Евлаха приезжего мастера на огород. Там у него малуха была. Избушка, известно, небольшая. Дверцы хоть ширококонькие, а без наклона не пройдешь. Ну, француза это не держит: не боится свою белую шляпу замарать, вперед хозяина лезет. Евлахе это не поглянулось.

— Вишь, скачет! Думает, — так ему и скажу!

В малухе, как полагается, станок с кругами, печка-железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеяный и протча. Французский мастер оглядел все, рукой опробовал и, видать, чего-то найти не может, а Евлаха навстречу ему усмехается:

— Цементу нет. Не употребляем.

Посовался-посовался французский мастер, видит, на глаз дела не понять, а Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит:

— Вот погляди, барин, что из этой грязи делаю.

Французский мастер стал досочки перебирать и видит, все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит, а Евлаха усмехается:

— Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца краю той красоте не видится.

Приезжий тут давай доспрашиваться, как составлять камень. Ну, Евлаха на это не пошел, пустыми словами загородился.

— Составы, дескать, разные бывают. Когда одного больше берешь, когда другого. Иное спекаешь, иное свариваешь, а которое и просто смешать можно.

— Каким, — спрашивает, — инструментом работаете?

А Евлаха и отвечает:

— Инструмент известный — руки.

Заграничный на это головой заболтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал:

— Волшебные руки, Ефляк Петрош! Волшебные руки!

— Волшебства, — отвечает, — нет, а не жалеюсь.

Заграничный мастер видит — ни хитростью, ни лаской не возьмешь, вынимает из кармана два петровских билета, тысячу, значит, рублей, кладет на верстак и говорит:

— Плачу тысячу, если все по совести расскажешь, а коли научишь натурально, еще столько доплачиваю.

Евлаха поглядел на петровский портрет и говорит:

— Хороший государь был! Не чета протчим, а только он тому не учил, чтоб мы нутром своим торговали. Бери-ко, барин, свои деньги да ступай, откуда пришел.

Тот, конечно, завертелся — что такое? В чем обида?

Ну, Железко тут свой характер показал, отчитал гостя.

— Эх ты, — говорит, — белошляпый, а еще мастером называешься! Скажи тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки кому хочешь продашь. До немцев дойдет, а эти дуболобы любой камень испоганят. Харчок в золотой оправе станут за малахит по пятишке продавать. Понимаешь это? Харчок за наш родной камень, в коем радость земли собрана. Да никогда этого не будет! Нам самим этот камешок приго-

дится. Не то что покрывки на царской альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаться будут, чтобы хоть глазком поглядеть. И будет это наша работа! Вот такими же руками делана!

Так заграничный мастер и ушел от Железки ни с чем. А крышки от Фабержея все-таки увез. Через свое начальство улестил царя, чтоб подарок такой сделали.

А Железко умер уж в гражданскую войну. Тогда еще которые сомневались, как да что будет, а Железко одно говорил:

— Не беспокойтесь, — рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье — тоже.





ИВАНКО - КРЫЛАТКО



III РО НАШИХ златоустовских славна сплетка пушена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто бы так записано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку-то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было, — кто у кого учился.

То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за немец-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набилось. Так и звались: Большая Немецкая — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой, и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.

Вот и выходит — нашим и без навозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута, — немецкая, то-есть, работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму ли Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.

Только верно — приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько.

— Штоф не чекушка. Двоем усидишь, и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть на выкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф.

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один, у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно

лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь-честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, чолку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже сильшки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички-цепочки разобрать можно. Одно не поймешь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похвальноется:

— Это есть немецкий рапота.

Начальство ему поддувает:

— О, та. Такой тонкий рапота руски понимает не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству, — так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит:

— Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимает не может.

Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся.

Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделявать. Ну, и от позолоты не отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонок — Иванко, той же фамилии — Бушуев. Смышленный по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.

— Не допушу, — кричит, — чтоб Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушко Бушуев на фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погодя, похвастался:

— А все-таки у моего Банятки рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова и схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какую.

Все знали, — старик неподатливый, самостоятельного характера. Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушел, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошел.

Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!

Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем, — кричит, — что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился.

— Коли, — говорит, — немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:

— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу.

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил, — живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, — так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить, — Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Легкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:

— Это есть немецкий рапота,

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:
— Пора этот мальшик проба ставить, — а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет. Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил, — буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с короной? Думал-думал, и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлось. Живыми коньки вышли, и коронка делу не мешает.

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала:

— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он лучше Фуйкина вышел.

Вспомнил это и говорит:

— Э, была не была! Может, так лучше!

Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил, — сдаю пробу. Ну, люди сходитья стали.

Первым дедушко Бушуев припелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.

— Какой глупость! Кто видел коня с крильом! Пошему корона сбок лежал? Это есть поношений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.

— Псы вы, — кричит, — бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осинные башки. Что вы в таком деле понимаете?

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до ху-

дого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:

— Такой глупый мальчишка завод не пускай! Штраф платить будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую, — и не препятствую.

Иванко повеселел маленько да и обмолвился:

— Это она надоумила, крылышки-то конькам приделать. — Дедушко удивился:

— Неуж такая смышленная девка?

Потом помолчал малость да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не все немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Еще гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскорости после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из кутузовских. Немало он супостатов покروшил и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит, — у старика заслуг-то на груди небогато.

У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют, — куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую.

Немцы, понятно, спозаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:

— Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казачьему удару ведет.

Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю, — правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь, — пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.

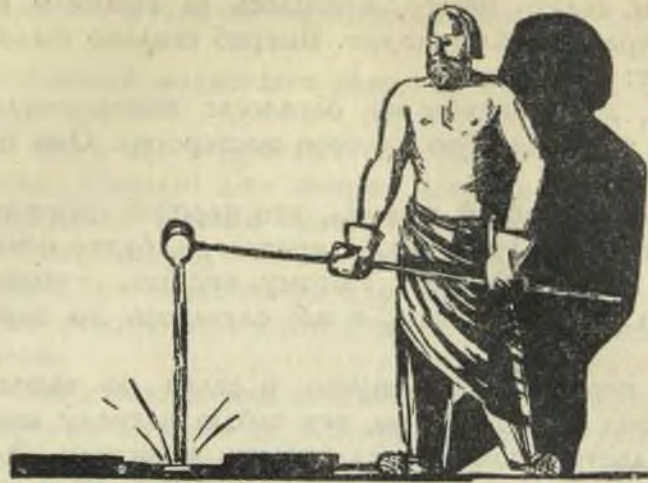
С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать.

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в жите веселенько бегут. Ребят хорошо растут. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?





АЛМАЗНАЯ СПИЧКА



ДЕЛО с пустяков началось, — с пороховой спички. Она ведь не ахти как давно придумана. С малым сотня лет наберется ли? По началу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили. Которое и вовсе зря. Кто, скажем, придумал точеную соломку делать, кто опять стал смазывать спички таким составом, чтоб они горели разными огоньками: малиновым, зеленым, еще каким. С укупоркой тоже немало чудили. Пряменько сказать, на большой моде пороховая спичка была.

Одного нашего заводского мастера эта спичечная мода и задела. А он сталь варил. Власычем звали. По своему делу первостатейный. Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтоб сразу трут брала, если той сталью рядом по кремню чиркнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из нее спичечек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки трут поджигала. Тут, поди-ко, и кремешок надо хорошо подобрать, и трут в исправности содержать, а главное, — боль-

шую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывают, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу. Прозвали ее алмазной. Токари заводские выточили Власычу под спички форменную коробушечку и по стали надпись вывели: «алмазные спички».

Власыч эту штуку на заводе делал. Сторожился, конечно, чтоб на глаза начальству не попасть, а раз оплошал. В самый неурочный час принесло одного немца. Обер-мастером назывался, а в деле мало смыслил. Об одном заботился, чтоб все по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, если раньше того не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль. Заводские дивились, до чего кличка ловко подошла. Голенастый да головастый, и нос вроде спицы — зипуны вешать. Ни дать, ни взять, — барочный шпиль, коим кокоры к бортам пришивают. И ума не больше, чем в деревянном шпиле. Меж своими немцами и то в дураках считался.

Увидел Шпиль у Власыча стальную коробушечку и напустился:

— Какой тфой праф игральки делайть? С казенни материалф казенни фремя? По устаф перешь сто пальки.

Власыч хотел объяснить, да разве такой поймет. А время тогда еще крепостное было, Власыч и пожалел свою спину, смирился.

— Помилосердуй, — говорит, — Устав Уставыч, напредки того не будет.

Шпилю, конечно, любо, что самолучший мастер ему кланяется, и то, видно, в понятие взял, что Власычевым мастерством сам держится. Задрал свою спицу дальше некуда и говорит с важностью:

— Снай, Флясич, какоф я есть добри нашальник. Фсегда меня слюшай. Перфая фина прощаль, фторой фина сто пальки.

Потом стал допытываться, кто коробушечку делал, да Власыч принял это на себя.

— Сам смастерил, в домашние часы. А надпись иконный мастер нанес. Я по готовому выскоблил, как это смолоду умею.

Смекнул тоже, на кого повернуть. Иконник-то из приезжих был да еще дворянского сословия. Такому заводское начальство, как пузыри в ложке: хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь.

Коробушечку немец отобрал и домой унес, а остатки спичек Власыч себе прибрал.

Пришел Шпиль домой, поставил коробушечку на стол и хвалится перед женой, — какой он приметливый, все сразу увидит, поймет и конец тому сделает. Жена в таком разе, как, поди, у всех народов ведется, поддакивает да похваливает:

— Ты у меня что! Маслом мазанный, сахарной крошкой посыпанный. Недаром за тебя замуж вышла.

Шпиль разнежился, рассказывает ей по порядку, а она давай его тосчить, что человека под палки не поставил. Шпиль объясняет: мастер де такой, им только и держусь, а она свое скрипит:

— Какой ни будь, а ты начальник! На то поставлен, чтоб тебя боялись. Без палки уважения не будет.

Известно, у немцев не как у других людей, баба лютей мужика бывает. На том выращена, чтоб палку за бога почитать. Скрипела-скрипела, до того мужа довела, что схватил он коробушечку со спичками и пошел в завод, да тут его к главному заводскому управителю потребовали. Прибежал, а там кабинетская бумага: спрашивают про алмазную сталь, — кто ее сварил и почему о том не донесли?

Дело-то так вышло. Власычевы спички давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. С одним стекольщиком спички и пошли по большим дорогам да там и набежали на какого-то большого начальника. Не дурак, видно, был. Увидел — небывалая сталь, — стал дознаваться, откуда такая? Стекольщик объявил, — из Златоустовского, мол, завода. Там мастер один делает. Вот бумага и пришла.

Бумага не строгая, только с малым укором. Шпиль перевел все это в своей дурной башке: заставлю, дескать, Власыча сварить при себе эту сталь, а скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подал управителю и обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был. Обрадовался. Ну, как же! Большая подпорка всем немцам. Похвалил Шпиля.

— Молодец! Показал русским, что без нас им обойтись никак невозможно.

И тут же состряпал ответную бумагу. Моим, дескать, стараньем обер-мастер Шпиль сварил алмазную сталь, а не доносили потому, что готовили форменную укупорку. Делал ее русский мастер, оттого и задержка. Понятно, немец не может, чтоб не сказать худого на русского человека: велел управитель переписать письмо и с нарочным отправить в Сам-Петербург. И Власычева коробушечка со спичками туда же пошла.

Шпиль от управителя именинником пошел, чуть не приплясывает. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбегались. Завидуют, конечно. Дивятся, как такому дураку удалась этакая штука, а все-таки поздравляют. Знают, видишь, что всем им от этого большая выгода.

На другой день Шпиль как ни в чем не бывало пришел в завод и говорит Власычу.

— Вчера глядель тфой игральки. Ошень сапафни штук. Ошень сапафни. Сфари такой шталь польни тигель. Я расрешай. Сафтра.

А Власычу все ведомо. Копнист, который бумагу перебелил, себе копийку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали. Только он виду не подаёт, говорит немцу:

— То и горе, Устав Уставыч, — не могу добиться такой стали.

У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал:

— Какой ты смель шутка нашальник кафарийть?

— Какие, — отвечает, — шутки. Рад бы всей душой, да не могу. Спички-то, поди, из той стали деланы, кою, помнишь, сам пособлял мне варить. Еще из бумажки чего-то подсыпал, как главное начальство из Сам-Петербурху наезжало.

И верно, был такой случай. Приезжало начальство, и Шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали, а Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую знает. Мастера смеялись потом: «понимает пес, кому подсыпать, знает, что у Власыча оплошки не случится». Теперь Власыч этим случаем и закрылся. Шпиль, как он и в немцах дураком считался, поверил тому разговору. Обрадовался сперва, потом образумился маленько: как быть? Помнит, — точно подсыпал какой-то аптечный порошок. Так, для видимости, а он, оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошок узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал-мерекал, на том решил, — буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкошится и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, скажем, от колотья в грудях, от рвоты либо удушья, от почечуя там, от кашлю. Да мало ли всякого снадобья. Власыч свое ведет: одно сварит покрепче, другое нисколько на сталь не походит да и судит:

— Диво! Порошочки будто одинаковые были, а в варке экая различка. Мудреный ты человек, Устав Уставыч! Ой, мудреный!

Такими разговорами сбил Шпиля с последнего умишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает, — найду все-таки. Тем временем из Петербурху новая бумага пришла. Управителю одобрение, Шпилю — награждение, а заводу — заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники.

Одним словом, разное. И все с рисовкой да с позолотой. И велено всякую поделку опробовать, чтоб она стекло резала.

Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как немецкий мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются да похваляются, а русские посмеиваются, потому знают, как Шпиль свою дурость с порошками показывает.

Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ, да еще с переделом, большим считался. Поторапливаться приходилось. Передельщики заговорили: подавай сталь поскорее. Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые от поносу, давно ему в нутро понадобились. Сам управитель рысью забегал. Этот, видать, посмышленнее был: сразу понял, что тут Власыч водит, а что поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь Шпилем придумана и сварена. Велел только управитель Шпилю одному варить, близко никого не подпускать. А что Шпиль один сделает, если по-настоящему у рук не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж тем прямо наступать стали:

— Заказ царский. За канитель в таком деле к ответу потянут. Подавай сталь, либо пиши бумагу, что все это зряшная хвастня была. Никакой алмазной стали Шпиль не варил и сварить не может.

Управитель видит — круто поворачивается, нашел-таки лазейку. Велел Шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству: прошу отсрочки по заказу, потому обер-мастер, который сталь варит, крепко занедужил. А сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, улещал тоже, да Власыч уперся.

— Не показал мне Устав Уставыч своей тайности. Не умею.

Тогда управитель другое придумал.

У Власыча, видишь, все ребята уж выросли, всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался, а он некудыка-парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья-сестры, известно, матери не замена, а отец с утра до вечера на заводе. Парнишко с молодым-то умишком и пошел по кривым дорожкам. К картишкам пристрастился, винишко до поры похватывать стал. Колачивал его Власыч, да не поправишь ведь, коли время пропущено. А так из себя парень приглядный. Что называется, и броваст, и глазаст, и волосом кудряв. Власыч про него говаривал:

— На моего Микешку поглядеть, сокол — соколом, а до работы коснись — хуже кривой вороны. Сам дела не видит, а натолкнешь, так его куда-то в сторону отбросит.

Ну, все-таки своя кровь, куда денешь? Власыч и пристроил Микешку себе подручным. Тайности со сталью такому, понятно, не показывал. Женить даже его опасался: загубит чужой век, да и в доме содом пойдет.

Этого Микешку управитель и велел перевести в садовые работники, при городском саду. Микешке по началу это поглянулось: дела нет, а кормят вдосталь. Одно плохо — винишко добыть трудно и сомнительно тоже, зачем его тут поставили, коли все другие из немцев. Сторожится, понятно, отмалчивается, когда с ним разговаривают. Тут видит, — Шпилева девка, — Мамальей ли Манильей ее звали, — часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, заговаривает тоже. Порусскому-то она хоть смешненько, а бойко лопотала, как в нашем заводе выросла. Микешка видит, — заигрывает немка, сам вид делает — все бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой: сытая да белобрысая, да в господской одеже. Манилье, видно, любо, что парень голову потерял, а он, знай, глазом играет да ус подкручивает. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору не помешает.

Шпилева девка умом-то в отца издалась, сразу выболтала, что ей надо. Микешка на себя важность накинуд да и говорит:

— Очень даже хорошо всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявиться станут, так по Таганаяю можно алмазные палки найти. Если такую в порошок стереть да по рюмке на пуд подсыпать при варке, то, непременно, алмазная сталь выйдет.

Манилья спрашивает: где такие палки искать?

— Места, — отвечает, — знаю. Для тебя могу постараться, только чтоб без постороннего глаза. Да еще уговор. Ходьбы будет много, так чтобы всякий раз брать по бутылке простого да по бутылке наливки какой послаще да покрепче. И закусить тоже было бы чем.

— Что ж, — говорит, — это можно. Наливок-то у мамыши полон чулан, а простого добыть и того легче.

Вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не все лето путались, да, видно, не по тем местам. Шпилям тут что-то крепко не взлюбилось. Слышно, Манилью-то в две руки своими любезными немецкими палками дубасили да наговаривали:

— Мы тебе наказывали: себя не потеряй, а ты что? Хвалилась всю тайность выведать, а до чего себя допустила?

Управитель опять Микешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его присудили и так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли.

Успели-таки немцы, а вскоре им и самим решение вышло. Наши мастера тоже не дремали. В завод как раз пришел тот самый стекольник, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев по тому времени в рабочих не было, так пошли с этим к иконнику. Тот хоть из бар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит:

— Вижу, — дело сурьезное. Ног жалеть не буду, только вы мне одолжите спичечек-то. Хоть с десяток.

Власыч, понятно, отсыпал ему, не поскупился. С тем стекольник и ушел, а вот оно и сказалось. В Сам-то Петербурхе, видно, разобрали всю немецкую подлость и послали нового управителя. Приехал новый управитель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал, как нельзя лучше. Опробовал новый управитель сталь и сразу всех немцев к выгонке определил. Чтоб на другой же день и духу их не было.

С той вот поры в нашем заводе чисто от немца стало. Алмазная-то спичка им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, небось, перхали да поминали:

— Хорош рыбный пирожок, да подавиться им можно, — ноги протянешь.

А Микешка по времени в дяди Никифоры вышел. Ну, помаялся. Соседские ребятишки сперва-то его образумили. Как он прочухался после битья да стал по улицам ходить, они и принялись его дразнить. Вслед ему кричат: «немкин мужик, немкин мужик», а то песенку запоют: «немка по лесу ходила, да подвязки обронила», или еще что. Парень и думает про себя:

«Маленькие говорят, — от больших слышат. Хороводился с немкой из баловства да из-за хороших харчей, а оно вон куда загнулось. Вроде за чужого меня считают».

Пожаловался старшим, а они отвечают:

— Так ведь это правильно. Ты вроде немца за чужой спиной пожить хочешь. Смотри-ко, до густой бороды вырос, а на отцовых хлебах сидишь.

Парню эти укоры вовсе непереносны стали. Тут у него поворот жизни и вышел. Старые свои повадки забросил. За работу принялся, — знай держись. Случалось, когда и попирует, так не укорено: на свои трудовые.

Жениться вот только долго не мог. К которой девушке ни подойдет, та и в сторону. Иная даже и пожалеет:

— Кабы ты, Микешка, не немкин был.

— Не прилипло, поди, ко мне немецкос, — урезонивает Микешка, а девушка на своем стоит:

— Может, и не прилипло, да зазорно мне за «немкиного мужика» выходить.

Потом уж женился на какой-то приезжей. И ничего, ладно с ней жили. Доброго сына да сколько-то дочерей вырастили. Никифор-то частенько сыну наказывал:

— Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а немца остерегайся. Больно высоко себя ставит, а сам об одном заботится, как бы на чужой спине прокатиться. Мошенник из мошенников. Ты его и опасайся. А того лучше, гони от себя куда подальше.





ЧУГУННАЯ БАБУШКА



III

ПРОТИВ наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.

Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.

Демидовы тагильские сильно косились. Ну как? Первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут на-ко — по литью оплошка. Связываться все-таки не стали, отговорку придумали:

— Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит: выгоды мало.

С Шуваловыми лысьвенскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя, на Кузье-Александровском заводе, сказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест повезли, художников наняли. Не один год этак-то пыжились и денег, говорят, не жалели, а только видят — в ряд с каслинским это литье не поставишь. Махнули рукой, да и говорят, как Демидовы:

— Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посерьезнее найдется.

Наши мастера меж собой пересмеиваются.

— То-то! Займитесь-ко чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литье, поди-ко, по всему свету на отличку идет. Одним словом, каслинское.

В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил — чугуны здешний особенный, только, на мой глаз, чугун — чугуном, а руки — руками. Про это ни в каком деле забывать не след.

В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях жилали. Народ, значит, и приобык.

Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни лепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.

Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал — уродец родится.

Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплавчик выбежит, шадринки высыплет, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: наплавчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.

Бронзировка да покраска проще кажутся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей много.

А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарованья к этому делу имели.

Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того, их со стороны привозили. Которое, как говорится, из столицы, которое — из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, — приглянется заводским барам какая вещичка, они и посылают ее в Касли с наказом:

— Отлейте по этому образцу к такому-то сроку.

Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.

— Это, не иначе, француз придумал. У них, знаешь, всегда так: либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вот парня с крылышками на пятках. Кузьмич из красильной еще его торгованом-Меркушкой зовет.

— Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглажé да посытее, либо бык пудов этак на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде да еще с собакой, так и знай — без немецкой руки тут не обошлось. Потому — немец первым делом о сытости думает.

Ну вот. В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали.

Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талан к этому делу имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли.

За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится:

— Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятное показать.

С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводский художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже.

Формовочное дело, известно, с лепкой-то по соседству живет: тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует.

Поглядел дядя Вася на занятия да и думает про себя:

«А ну-ко, попробую сам».

Только человек возрастной, свои ребята уже большенькие стают — ему и стыдно в таких годах ученьем заниматься. Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает:

— Ты что, отец, полуночничашь?

Он сперва отговаривался:

— Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их.

Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею. Не зря, поди-ко, сказано: сперва подумай с подушкой, потом с женой. Ну, он и рассказал:

— Так и так... Придумал свой образец для отливки сготовить.

Жена посомневалась:

— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?

— Вот то-то, — отвечает, — и горе, что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабу Анисью вылепить, как она прядет. Видела?

— Как, — отвечает, — не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаяю.

А по соседству с ними Безкресновы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-денской за пряжей и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заметил. Нет-нет и зайдет к соседям будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужнина затея.

— Что ж, — говорит, — старушка стоящая. Век прожила, худого о ней никто не скажет. Работающая, характером уветливая, на разговор не скупая. Только примут ли на заводе?

— Это, — отвечает, — полбеда, потому — глина некупленная и руки свои.

Вот и стал дядя Вася лепить бабу Анисью, со всем, сказать по-настоящему, рабочим местом. Тут тебе кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке, вот-вот ласковое слово скажет.

Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою замечточку скажет:

— Потуже ровно надо ее подвязать. Не любит бабка распустихой ходить, да и не по-старушечьи этак-то платок носить.

— Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела.

Ну, и прочее такое. Дядя Вася о котором поспорит, которое на приметку берет.

Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло, — показывать ли? Еще на смех подымут!

Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых пришелся, неплохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он Торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:

— Подожди маленько — придется мне посоветоваться.

Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги.

— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому кроме своего завода не продавал.

Так и пошла Торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глиной вожгается. Придумал на этот раз углевоза слепить, с коробом, с лошадью, все как на деле бывает.

На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели — тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал вырезать девушку с корзинкой груздей, кто свою собачонку Шарика лепит-старается. Одним словом, пошло-поехало, живым потянуло.

Радуются все. Торокинскую бабку добром поминают.

— Это она всем нам дорожку показала.

Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:

— Вот что, Торокин... Считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой.

А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали, — тех всех до одного с завода прогнал.

Люди, понятно, как очумелые стали: за что, про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе:

— Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал?

Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву:

— Ты, Торокин, лишних слов не говори! Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи оставляю.

— Коли так, — отвечает дядя Вася, — могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне.

Управляющему, видно, вовсе стыдно стало.

— Не могу, — говорит, — этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, может, еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай.

Управляющий-то, видишь, сам в этом деле по-другому думал.

Которые поближе к нему стояли, те сказывали, — за большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался:

— Кабы не старость, дня бы тут лишнего не прожил.

Он — управляющий этот — с характером мужик был, вовсе ершистый. Чуть не по нему, сейчас:

— Живите, не тужите, обо мне не скучайте! Я по вам и подавно тосковать не стану, потому владельцев много, а настояще знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше.

Скажет так и вскорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались. Сманивали даже.

Все, понятно, знали — человек беспокойный, не любит, чтоб его под локоть толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счетом ничего не видят.

Владельцев заводских это и приманивало.

Перед Каслями-то этот управляющий на Омутинских заводах служил, у купцов Пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал — в Каслях попроще с этим будет, а вон что вышло: управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придется?

Управляющий и обижался, а уж, видно, остарел, помяк характером-то, побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васе, чтоб тот помалкивал.

Дяде Васе как быть? Передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят — не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться да и разузнали все до тонкости.

Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К расторгуевскому подобрался фон-барон Меллер да еще Закомельский. Чуешь, — какой коршун? После пятого году на все государство прославился палачом да вешателем.

В ту пору этот Меллер-Закомельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал.

Их ведь — наследников-то расторгуевских — не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил, — вот и вышел в главного.

У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубину на рабочую спи-

ну. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть.

И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейном подсмеивались:

— Подобрано на немецкой тетки глаз — нашему брату не понять.

Ну, вот так... Уехала эта немецкая тетка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто говорит — лечилась, кто говорит — забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз торокинская чугунная бабушка и выскочила, а за ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали и ходко по рукам пошли.

Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена делу вышла.

Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко в том смысле: скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет!

Меллер, видно, умишком небогат был, забеспокоился:

— Простите-извините, любезная тетушка, — не доглядел. Сейчас дело поправим.

И пишет выговор управляющему со строгим предписанием — всех нововывявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.

Так вот и плюнула немецкая тетка Каролина со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.

Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит — на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:

— Ваших заводов литье?

— Наших, — отвечает.

— Хорошая, — говорит, — вещица. Живым от нее пахнет.

Пришлось Каролинке поддакивать:

— О, та! Очень превосходный рапот.

Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть:

— По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна.

Каролинке на это вежливенько и говорят:

— Видать, вы, мадама, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно.

Пришлось Каролинке и это проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:

— Что же вы, дорогая тетушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут.

И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны — никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо.

— Либо,—говорит,—в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.

Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали.

Меллер-Закомельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случаю пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она, эта Каролинка, с той поры прямо тряслась от злости, как случится где увидеть торокинскую работу.

Да еще что? Стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке.

Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка и сразу начинает расти. Жаром от нее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает:

— Ну-ко, ты, перекисло тесто, поберегись, как бы не изжарить.

Каролинка в угол забьется, визг на весь дом подымет, а прибегут — никого нет.

От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то ей в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки: крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзирровкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись, да и говорит:

— Ангел яичко снес да и думает: то ли насиживать, то ли подождать?

После революции в ту же чертову дыру замели Каролинкину родню — всех Меллеров-Закомельских, которые убежать не успели.

Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокин, а работа его и теперь живет.

В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке — вот-вот ласковое слово скажет:

— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабуку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и по-сейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила и по старости сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить, а что вышло? Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю — о Василье Федорыче Торокине.

Так-то, милачик! Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.





Хрустальный лак



НАШИ старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли.

Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка, видишь, из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость мало. Семей, поди, с десятков по Тагилу да столько же, может, по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла. И неплохо, сказать, кормились.

Дело по видимости простое. Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще — вырежут с печатного картинку какую, наклеят ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет та рисовка либо картинка, как влитая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом ее не берет. Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить либо вино сплеснуть — вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту, коей железо к железу крепят, и ту, сказыв-

вают, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом капнуть — дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и железо выстоять не могут.

Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла.

Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали.

Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того — хрустальным.

Слух об этом хрустальном лаке далеко прошел и до немцев, видно, докатился. И вот объявился в здешних местах вроде, сказать, проезжающий барин из немцев. Птаха, видать, из больших. От заводского начальства ему все устроено, а урядник да стражники чуть не стелют солому под ноги тому немцу.

Стал этот проезжающий будто заводы да рудники осматривать. Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Да еще та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил.

В мастерских покупал немец поделку, всяко ее нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят.

Мастера, как на подбор, из староверов были. Сердить урядника им не с руки, потому — он может прижимку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мяконько отойти: со всяким обхождением плели немцу окоlesiцу. И так надо понимать, — спозаранку сговорились, потому — в одно слово у них выходило.

Дескать, так и так, варим на постном масле шеллак да сандарак. На ведро берем одного столько-то, другого — столько да еще голландской сажки с пригоршни подкидываем. Можно и побольше — это делу не помеха. А время так замечать надо. Как появится на масле первый пузырь, читай от этого пузыря молитву исусову три раза да снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запозднишься либо заторопишься — станет сажа-сажей.

Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя: были бы составы ведомы, а время по минутам подогнать можно.

С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только вскорости объявился в Тагиле опять немец. Этот вовсе другой статьи. Вроде как из лавочных сидельцев, кои навывкли всякого покупателя оболтать да облапошить. Смолоду, видно, на нашей земле топчется, потому — говорит четко. Из себя пухлявый, а ходу легкого:

как порховка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозвание ему самое простое — Федор Федорыч. Только глаза у этого немецкого Двоефеди белесые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые. Самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да еще приметливые люди углядели: на правой руке рванинка. Накосо через всю ладонь прошла. Похоже, либо за нож хватался, либо рубанули по этому месту, да скользом пришлось. Одним словом, из таких бывальцев, с конми один на один спать остерегайся.

Вот живет этот короткопалый Двоефедя в заводе неделю, другую. Живет месяц. Со всеми торгашами снюхался, к начальству вхож, с заводскими служаками знакомство свел. Попить-погулять в кабаке не чурается и денег, видать, не жалеет: не столь у других угощается, сколько сам угощает. Одно слово, простягу из себя строит. Только и то замечают люди. Дела у него никакого нет, а разговор к одному клонит: про подносных мастеров расспрашивает, кто чем дышит, у кого какая семейственность да какой норю. Ну, все до тонкости. И то, как говорится, ему скажи, у кого в котором месте спина свербит, у кого ноги мокнут.

Расспрашивает этак-то, а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Ну, заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет, меж собой пересмеиваются:

— Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает.

Любопытствуют, что дальше будет. Через какую подворотню короткопалый за хрустальным лаком подлезать станет.

Дело, конечно, не из легоньких. Староверы, известно, народ трудный. Без уставной молитвы к ним и в избы не попадешь. На чужое угощение не больно зарны. Когда, случается, винишком забавляются, так своим кругом. С чужаками в таком разе не якшаются, за грех даже такое почитают. Вот и подойди к ним!

За деньги тоже никого купить невозможно, потому — видать, что за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут.

Ну, все-таки немец нашел подход.

В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да от веры давно откачнулся. С молодых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики давай его усовещать: негоже дело, потому она из церковных, а он уперся: хочу с этой девахой в закон вступить. Тут, понятно, всего было. Только Артюха на своем устоял и от старой веры отшатился. А как мужик задорный, он еще придумал сережку себе в ухо

пристроить. Нате-ко, мол, поглядите! За это Артюху и прозвали Сергачом.

К той поре Артюха уж в пожилых ходил. Вовсе густобородый мужик, а задору не потерял. Нет-нет и придумает что-нибудь новенькое либо какую неугодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого Артюхина поделка на большой славе была.

Тайность с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал.

Вот к этому Артюхе Сергачу и стал немецкий Двоефедя подъезжать с разговорами, а тот, можно сказать, сам навстречу идет. Не хуже немца на пустом месте разводы разводит.

Кто настоящей понимал Артюху, те переговариваются:

— Мужик с выдумкой — покажет он короткопалому коку с сокой.

А мастера, кои тайность с лаком знали, забеспокоились, грозятся:

— Гляди, Артемий! Выболтаешь — худо будет.

Сергач на это и говорит по-хорошему:

— Что вы, старики. Неуж у меня совесть подымется свое родное немцу продать. Другой, поди-ко, интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтоб в башке угар, а в кошельке хрусталь. Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться.

Мастера все-таки свое твердят:

— Дело твое, а в случае — не пощадим!

— Какая, — отвечает, — может быть пощада за такие дела! Только будьте в надежде — не прошибусь. И о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю, потому лак не мой, а наш тагильский да невьянский.

Мастера недолюбливали Артюху за старое, а все-ж-таки знали, — в словах он не верткий, что скажет, то и сделает. Поверили маленько, ушли, а Сергач после этого разговору в открытую по кабакам с немцем пошел да еще сам стал о хрустальном лаке заговаривать.

Немец, понятно, рад-радехонек, словами Артюху всяко подталкивает. Ну, ясное дело, договорились.

— Хошь — продам?

И сразу цену сказал. С большим, конечно, запросом.

Немец сперва хитрил: дескать, раденья к такому делу не имею. Мало погодя рядиться стал. Столковались за сколько-то там тысяч, только немец уговаривается:

— За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне все покажи: как варят, как им железо кроют. Когда все своими глазами увижу да своей рукой опробую, тогда получай сполна.

Артюха на это смеется.

— Наша, — говорит, — земля таких дураков не рождает, чтоб сперва тайность открыть, а потом расчет выхаживать. Тут, говорит, заведено наоборот: сперва деньги на кон, потом показ будет.

Немец, понятно, жметя, — боится деньги просадить.

— Не согласен, — говорит, — на это.

Тогда Артюха вроде как на уступку пошел.

— Коли, — говорит, — ты такой боязливый, вот мое последнее слово. Тысячу рублей задаток отдаешь сейчас, остальные деньги надежному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно, — получай эти деньги обратно, ежели у тебя понятия либо духу нехватит — мои деньги.

Этот разговор о заручнике пришелся по нраву немцу, он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно бы, либо вон того. Хорошие люди, самостоятельные. И все, понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал напрямик:

— Не труди-ко язык! Таких мне и близко не надо. Заручником ставлю дедушку Мирона Саватеича из Литейной. Он хоть старой веры, а правильной тропой ходит. Кого хочешь спроси. Самая подлая душа не наосмелится худое про него сказать. Ему и деньги отдашь. А холи надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе любо, только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю.

Немцу делать нечего, — согласился. Вечером сходили к дедушке Мирону. Он по началу заартачился. Строго так стал доспрашивать Артюху:

— Какое твое право тайность продавать, коли ей другие мастера тоже кормятся?

Артюха на это говорит:

— Наши мастера не без глаз ходят, и я свою голову не в рубле ставлю. Одна сережка, поди-ко, дороже стоит, потому — золотая да еще с камнем. А только, знаешь, в игре на каждую сторону заводило полагается.

Немец, понятно, не уразумел этого разговору, а дедушко Мирон понял, — мастерам дело известно, с немцем игра на смекалку идет, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач.

Дедушко еще подумал маленько. Перевел, видно, в голове, почему Артюху заводилом ставят. И то прикинул, — мужик с причудой, а надежный, — говорит твердо:

— Ладно. Приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет?

Артюха и спрашивает:

— Знаешь наше ремесло?

— Как, — отвечает, — не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают да рисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого составу тот лак — это ведомо только мастерам.

— Ну так вот, — говорит Артюха, — берусь я на глазах этого приезжего сварить лак, и может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть дюжину подносов, какие он выберет. И может он, коли пожелает и силы хватит, своей рукой ту работу попробовать. Коли после этого поделка окажется хорошей, отдашь деньги мне, коли что не выйдет — деньги обратно ему.

Немец свое выговаривает: сварить лаку не меньше четвертной бутылки, до дела лак хранить за печатью, и остаток может немец взять с собой.

Артюха на это согласен, одно оговорил:

— Хранить за печатью в стеклянной посуде, чтоб отстой во-время углядеть.

Столковались на этом. Дедушко Мирон тогда и говорит немецкому Двоефедю:

— Тащи деньги. Зови своих свидетелей. Надо при них уговор сказать, чтоб потом пустых разговоров не вышло.

Сбежал немец за деньгами, привел двух своих знакомцев. Артюха вдругорядь сказал уговор, а немец свое выставляет да еще то выражает, чтоб дюжину подносов, кои при пробе выйдут, ему получить бесплатно.

Артюха усмехнулся и промолвил:

— Тринадцатый на придачу получишь!

Немец после этого поежился, похинькал, что денег много закладывать надо, да дедушко Мирон заворчал:

— Коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь. Не от безделья мне с тобой балясничать! Либо отдавай деньги, либо ступай домой!..

Отдал тогда немец деньги, а Сергач и говорит:

— С утра приходи, — лак варить буду.

На другой день немец прибежал с весами да какими-то трубочками и четвертную бутылку приволок.

Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кои проезжему немецкому барину сказывалось. Короткопалый Двоефедя, видать, сомневается, а сперва молчал. Ну, как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился:



Детская Центральная Библиотека
в Свердловск

— Черный лак из этого выйдет!

Артюха прицепился к этому слову:

— Ты как узнал? Видно, сам варить пробовал?

Немец отговаривается: по книжкам, дескать, составы знаю, а самому варить не доводилось. Артюха свое твердит:

— А я вижу — сам варил!

Немец тут строгость на себя напустил:

— Что, дескать, за шутки такие! Собрались по делу, а не для пустых разговоров!

Под эти перекоры лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок, а как он чуть поостудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить, да Артюха не допустил.

— Припечатывать, — говорит, — припечатывай, а место лаку в моей малухе должно быть.

Немец тут давай улещать Артюху. То да се насказывает, а в конце концов говорит:

— По какой причине мне не веришь?

— А по той, — отвечает, — причине, коя у тебя на ладошке обозначена.

Немцу это вроде не по губе пришлось. Сразу ладонь книзу и говорит:

— Это делу не касательно.

Только Артюха не сдает:

— Человечья рука, — говорит, — ко всякому касательна. По руке о делах дознаться можно.

Короткопалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутылку своей немецкой печатью и погрозил:

— Перед делом при свидетелях печать огляжу!

— Это, — отвечает Артюха, — как тебе угодно. Хоть всех своих знакомцев зови.

С тем и разошлись. Немец, понятно, каждый день наведывался, — не пора ли? Только Артюха одно говорил: рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутылки отстой обозначаться стал, объявил: можно лакировать.

На другой день немец свидетелей привел, и дедушко Мирон тоже пришел. Оглядел печать, подносы немец выбрал, в бане тоже все досмотрели, нет ли какой фальши.

Дедушко Мирон для верности спросил немца, дескать, все ли в порядке? Немец сперва зафинтил, — может, что не доглядели, а дедушко ему навстречу:

— А ты догляди! Не торопим.

Немец потоптался-потоптался, признал:

— Фальши не замечаю, а только сильно тут жарко. При работе надо двери отворить.

Артюха на это замялся и говорит:

— Жар еще весь впереди, как на каменку поддавать буду.

Дедушко Мирон и те другие-то свидетели, даром что из торгашей, это же сказали:

— Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням в самом горячем пару, — как только может человек выдюжить.

На этом разговор кончился. Ушли свидетели и дедушко Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким Двоефедей и говорит:

— Давай разболокаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть. И тебе надежнее, что ничего с собой не пронесу.

А сам посмеивается да бороду поглаживает.

Баня, и верно, вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случая Артюха не пожалел, на натурность свою понадеялся. Немец еще в предбаннике раскис, в баню зашел, — вовсе туго стало, а как стал Артюха полной шайкой на каменку плескать, немец на пол лег и слова вымолвить не может, только кряхтит да керкает.

Артюха кричит:

— Полезай на полок! Там, поди-ко, у нас все наготовлено.

А куда немец полезет, коли к полу еле жив прижался, головы поднять не может. Артюха, на что привычен, и то чует — перехватил малость. Усилился все-таки, забрался на полок и давай там подносы перебирать, а сам покрикивает:

— Вот гляди! Лаком плесну, кисточкой размахну — и готов поднос. Понял?

Немец ползет поближе к дверям да бормочет:

— Ох, понял.

Артюха, конечно, живо перебрал подносы, соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Баня, известно, не вовсе раздольное место: брызги на немца летят. Поросянком завизжал и выскочил из бани. Следом Артюха выбежал, баню на замок запер и говорит:

— Шесть часов для просушки.

Немец, как отдышался, припечатал двери своей печатью. Как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях стал Артюха поделку сдавать. Все, конечно, оказалось в полной исправности, и лаку издержано самая малость. Дедушко Мирон тогда и говорит:

— Ну, дело кончено. Получай, Артемий, деньги.

И подает ему пачку. Свидетели тоже помалкивают, а немец еще придирку строит.

— Тринадцатый, — говорит, — поднос где?

Артюха отвечает:

— За этим дело не станет. В уговоре не было, чтоб на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо. Сейчас принесу. Сразу узнаешь, что для тебя готовлено.

И вот, понимаешь, приносит поднос, а на нем короткопалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник, а сверху четкими буквами подписано:

«Испить кваску после баньки».

Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком. Как влита рука-то в железо.

Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил да так ни с чем и отъехал.

А Сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, которые в Тагиле жили, и невьянских тоже. Дедушко МIRON к этому случаю подошел. Артюха тогда и рассказал все по порядку, — как он с немцем хороводился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку МIRONА получил, и свою тысячу, какую в задаток от Двоефеди выморщил, туда же прибавил да и говорит:

— Вот разделите без обиды.

Мастерам стыдно ни за что, ни про что деньги брать, отговариваются, — мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтоб Артюхе двойную долю выделить, только он наотрез отказался.

— С меня, — говорит, — и того хватит, что позабавился над этим немецким Двоефедей.

Пузырек с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.





КОРЕННАЯ ТАЙНОСТЬ



О НАШЕМ старинном златоустовском булате больше сотни годов разговор ведется, да все как-то на две стороны.

Оно, видишь, как вышло... При крепостном еще положении сварили старики такую булатную сталь, против коей все тогдашние булаты в полном конфузе оказались. В те годы немецких приставников да прихлебышей по заводу порядком околачивалось. Немцам, понятно, охота была такую штуку на себя перевести. Они и пустили разговор: мы, мол, придумали и русских мастеров тому обучили. Только горного корпуса инженер Аносов этого не допустил. Он в книжках напечатал, что сталь сварили без немцев. Те все-таки не отпускаются. Все едино, говорят, по нашим составам ту сталь сварили. Аносов и на это отворот дал и к тому подвел, что златоустовская булатная сталь и рядом с немецкими не лежала. Да еще добавил: коли непременно надо искать родню нашему булату, так она в тех старинных ножах и саблях, кои иной раз случается видеть у башкир и прочих народов той стороны. И закалка такая же. Нисколько она на немецкую не походит.

Немцы видят: сорвалась эта петелька, за другое принялись. Им ведь всего дороже было, чтоб у высшего начальства думки не завелось, что наши мастера сами могут хорошее придумать. Вот немцы подхватили разговор о башкирских ножах да саблях и давай к этому приплетать. У наших, видно, к той поре еще не прошла мода верить,

будто все путное у нас непременно из какой-нибудь чужой стороны переято. Так и пошел разговор, что инженер Аносов много лет ходил да ездил по разным кибиточным кузнецам и у одного научился булатную сталь варить. Которые пословоохотливее, те и вовсе огородов нагородили, будто Аносов у этого кузнеца сколько-то лет в подручных жил и не то собирался, не то женился на его дочери. Тем мастера и взял и тайность у него разведал.

Аносову, может, лестно показалось, как его расписывают, — он и смолчал. Вот с той поры и пошла в ход эта немецкого плетенья безрукавка: Аносов не сам до дела дошел, а перенял чужую тайность, и то обманом. Про заводских мастеров и помину нет. Им привезли готовенькое, они и стали делать. Никакой тут ни выдумки, ни заботы.

Только безрукавка — безрукавка и есть. Сними верхнее — сразу руки увидишь. А все-таки и до сих пор некоторые этого не разобрали. Про Аносова этак жалостливо рассказывают. Вот, дескать, какой человек был. Пяти ли, семи годов своей жизни не пожалел, по степям бродяжкой шатался, за молотобойца ворочал, а тайность разведал. Того в толк не возьмут, что Аносов был горного корпуса инженер. Таких, поди, в ту пору не сотнями, а десятками считали. При заводе тоже не без дела сидел. Выехать такому человеку на месяц — на два, и то надо у главного начальства спроситься, а тут на-ко, убрался в степь на годы! Кто этому поверит? И кто бы отпустил его к кибиточным кузнецам в науку? По тем-то временам? Смешно слушать такое, да и зацепка одна есть. Вовсе надежная. С нее не сорвешься. Сколько ни крутись, а на нашем берегу будешь, на златоустовском, сам скажешь:

— Верное дело. Тут она, эта булатная сталь, зародилась, тут и захоронена.

Какие старики про эту зацепку хорошо знают, они так рассказывали.

Приехал Аносов, верно, в ту еще пору, как немцы в заводе силу имели, только сразу видно стало, что он их не больно боится и приверженности к немецкому не имеет. Рабочие, понятно, обрадовались. Кто помоложе, те в полной надежде:

— Этот покажет немцам! Того и гляди, к выгонке подведет. Потому — молодой, а в чинах. Руку, значит, имеет.

Другие опять говорят:

— Покажет — не покажет, а нашему брату заступа, потому — свой, русский, и дело заводское, видать, понимает. Постараться надо для такого человека.

Старикам при крепостном-то положении больно много горького досталось, они и вышли малoverные.

— Постараться, — говорят, — почему не постараться, а распоясаться не след. У кого коренная тайность по мастерству имеется, с этим погодить надо. Потому недаром молвится: с бариним по одной дорожке иди, а не забывай, что в концах разойдешься.

Молодые слушать этого не хотят, кричат:

— Как вам, старики, не совестно, такое говорить!

А те уперлись:

— Больше вашего учены! Знаем, что барин может тебя под плети положить, под палки поставить, по зеленой улице провести, а ты его — никогда. С тайностью, значит, погодить и погодить требуется.

На том все-таки сошлись, что надо по работе стараться как лучше. Сталь в ту пору по мелочам варили, и был в числе сталеваров дедушка Швецов. Он уже вовсе ветхий был, еле ноги передвигал. Варил он сталь с подручным парнем из своей же семьи Швецовых, как обычай такой держался, чтобы отец сыну, дед внуку мастерство передавал.

Старик всегда варил хорошую сталь, только маленько разных статей, — вроде искал что-то. Немецкие приставники это, видно, подметили и первым делом отобрали у старика его подручного, загнали парня в дальний курень, а на его место поставили какого-то немецкого Вилю-Филю. Старик на это своей хитростью ответил: стал варить, лишь бы с рук сбыть. Вот этот старик Швецов и приглядывался к Аносову, потом и говорит:

— Коли твоей милости угодно, сварю хорошую сталь, только дай мне подручного, коему могу верить в полную силу, а этого Вилю-Филю мне никак не надо.

И рассказал, как было дело. Аносов выслушал и говорит:

— Ладно, дед, охлопочу тебе внучонка, а немца пускай сами учат, чему умеют.

Вскорости шум поднял с немецким начальством, почему порядок вверх ногами? Не на то вас сюда везли, чтобы вы своих ребят у наших мастеров обучали. Немцы отбиваются: нечему у старика поучиться. Ну, все-таки уступили. Старый Швецов рад-радехонек, а молодой пуше того. Оба в полную силу стараются, Аносов похваливает:

— Старайся, дедушка!

Старик в задор пошел:

— Дай срок, я тебе такую сварю, как на старинных башкирских ножах. Видал?

С этого и началось. Разговор в самую точку попал, потому Аносов ножами да саблями старинной работы занимался. Обрадовался Аносов и объявил:

— Коли сварить такую, тебя и внучонка на волю выведу. Будь в надежде!

Что и говорить, как при таком обещании люди стараются! Дедушка Швецов из заветного сундучка какие-то камешки достал, растолок их в ступке и стал подсыпать в каждую плавку. Норовит сделать это без Аносова. Внучек спрашивает:

— Что это, дедушка, подсыпашь? Почему от Аносова таишься?

Старик объясняет:

— Верно, парень! Мне и самому вроде стыдно перед Аносовым, а не могу иначе. Тятя покойный с меня заклятие взял, чтоб до смертного часа никому не показывал. А смертный час придет — велено передать надежному человеку, только непременно из своего брата — из крепостных, а барину никак. Хоть золотой будь.

Так и работали они, с потайкой от Аносова. Старик на верную дорожку вышел, да не дотянул. Сварил раз сталь и говорит внуку:

— Пойдем поскорее домой. Не выварил, видно, я своей воли: в крепостных умирать привелось.

Пришли домой. Старик первым делом заклятие со внука взял. Такое же, как с него брал отец. Одно прибавил:

— Коли на волю выйдешь, действуй, как знаешь.

Потом старик открыл свой заветный сундучок, а там у него разные руды оказались. Объяснил, где какую искать, коли нехватит, и то рассказал, от какой крепости прибавляется, от какой — гибкости. Одним словом, по порядку, а дальше и говорит:

— Теперь мне этими делами заниматься не годится, беги за попом!

Внук так и сделал — и старик не задержался, в тот же вечер умер. Похоронили старого мастера Швецова, а молодой — на его место. Парень могучий, в полной силе, и сноровка по делу имеется. Без подручного, конечно, ворочает, а сам по дедушкиной дорожке все вперед да вперед идет. Аносов тоже не без дела сидел. Бился над тем, как лучше закалять сталь из швецовских плавков. Долго не выходило. Ну, попал-таки в точку. Заводский же кузнец надоумил.

Вот тогда и вышел тот самый булат, коим наш завод на весь свет прославился. Аносов, может, и не заметил, что плавка-то уже после старика доведена. Все-таки слово свое не забыл, стал хлопотать вольную молодому мастеру. Не скоро дали, да еще пришлось пообещать, что ни на какой другой завод он не пойдет. Швецов, понятно, такое обещание дал, а сам думает, что за воля без выходу! А тут еще одна спотычка случилась.

Он, этот молодой Швецов, по делу часто бывал у Аносова в доме. Аносов в ту пору уже семейным был. Ребятишки у него бежали, и была

у них в услужении девушка Луша. С собой ее Аносовы привезли. Вот эта девушка и приглянулась Швецову. Домашние, понятно, отговаривали парня:

— В уме ли ты? Она, поди-ка, крепостная Аносовых. С какой радости они тебе ее отдадут! Да и на что тебе нездешняя? Мало ли своих заводских девок!

Разговаривать о таком — все равно, что воду неведом черпать. Сколь ни старайся, толку не будет. Не родился еще тот мастер, коему эта тайность ведома, почему одного к этому тянет, а к другому нет. Не послушался Швецов своих семейных, сам свататься пошел. Аносов помялся и говорит:

— Это как барыня скажет, а я не могу.

Барыня поблизости случилась, услышала, зафыркала:

— Это еще что за выдумки! Чтоб я свою Лушу ему отдала! Да она у меня в приданое приведена. С девчонок мне служит, и дети к ней привыкли!

И на мужа накинулась:

— Чему ты потворствуешь? Как он смеет к тебе с таким делом приходиться?

Аносов объясняет: мастер, дескать, многое полезное сделал, а барыня свое:

— Что ж такое! Сталь сварил! Завтра другого поставишь, он сварит. А Лушке я покажу, как парней приманивать!

Тут вот Швецов и понял, что и вольному коренную тайность для себя хранить надо. Он и хранил всю жизнь. А жизнь ему долгая досталась. Без малого не дотянул до пятого года. Многие на его глазах прошло.

Аносов отстоял златоустовский булат от немецкой прихватки, до тонкости рассказал, как тому булату закалку вести. С той поры булатная сталь и получила прозвание — аносовская, а варил ее мастер Швецов.

Потом Аносовы уехали и Лушу с собой увезли. Говорили, что это немцы подстроили, только Аносов тоже себя не уронил: вскорости генеральский чин получил и томским губернатором сделался. А тут и немцам выгонка полная вышла, и Аносов будто в этом большую подмогу сделал. Из старинных начальников про него больше всех заводские старики поминают, и всегда добрым словом:

— Каким он там губернатором был, нам неизвестно, а по нашему заводу на редкость начальник был, и много полезного от него видели.

Аносов недолговым оказался. При крепостной поре еще умер. После его смерти немцам сподручнее стало плетешок свой плести на-





Детская Центральная Библиотека
в Свердловске

счет булата. А это им после выгонки-то вот как понадобилось. Ну, как же! На заводе сколько годов сидели, а сами знаменитую сталь сварить не умеют. Они и пустили в ход отговорку:

— Мы старинным оружием не занимались, а коли надо, так еще лучше сварим!

И верно, стали делать ножи да сабли по отделке вроде наших, златоустовских. Только в таком деле с фальшью недалеко уйдешь. Немцам пришлось это на себе испытать.

Была, сказывают, выставка в какой-то не нашей стороне. Все народы работу свою показывали и оружие в том числе. Наш златоустовский булат такого места не миновал. А немцы рядом с нашими свою подделку поставили да и хвалятся:

— Наш булат лучше.

Спор, понятно, поднялся. Народу около того места со всей выставки набежало. Тогда наши выкатили станочек, на коем гибкость пробуют, поставили свою саблю вверх острием, захватили рукоятку в зажим и говорят:

— А ну, руби вашими по нашей! Поглядим, сколько у вас целых останется!

Немцы увилывать стали, а нос все-таки кверху держат:

— Дикость какая! Тут не базар, поди-ка, не ярмарка, а выставка! Какая может быть проба? Повешено — гляди!

Тут, спасибо, другие народы ввязались, особливо из военного слою.

— При чем, — кричат, — ярмарка? Сталь — не зеркало, — в нее не глядеться. Русские дело говорят, — давай пробу!

Немцы посовались, посовались, сбегали куда-то, потом говорят:

— Сейчас придет наш человек и будет русскую саблю рубить.

Над этим, понятно, все засмеялись.

— Такого, — говорят, — правила нет, чтоб хозяева при споре сами свою работу пробовали. Ни вас, ни русских к этому делу не допустим. Своих судей выберем и найдем, кому рубить.

Так и сделали. Выбрали от всех народов, какие тут случились, по человеку в судьи, а на рубку доброволец выискался. Вышел какой-то военный, вроде барина, с сединой уж, ростом невелик, а кряжист, и говорит: булаты, дескать, знаю и к рубке привычен. Показал судьям какие-то бумаги. Те поглядели, головами покачивают.

— Лучше быть невозможно. Потрудитесь пожалуйста!

Подали этому чужестранному человеку немецкую саблю. Хватил он с расчетом концы испытать. Глядь, — у немецкой сабли кончика не осталось.

— Подавай, — кричит, — другую! Эта не годится.

Подали другую. На этот раз приноровился срединки испробовать. И опять с первого разу у немецкой сабли половина напрочь.

— Подавай, — кричит, — новую!

Подали третью. Эту направил так, чтобы сабли близко рукояток сошлись, а конец такой же: от немецкой сабли у него в руке одна рукоятка и осталась. Все хохочут, кричат:

— Вот так немецкий булат! Дальше и пробовать не надо. Без судей видим, чего он стоит!

Наши все-таки настояли, чтоб до конца довели пробу. Укрепили немецкую саблю в станок, и тот же человек стал по ней нашей, златоустовской саблей рубить. Рубанул раз — кончика не стало, два — половины нет, три — одна рукоятка в зажиме осталась, а нашей никакого изъяна, даже знаков на ней нет. Тут все шумят, в ладоши хлопают, на разных языках вроде как «ура» кричат, а этот рубака вытащил кинжал старинной работы, с золотой насечкой, укрепил его в станке и спрашивает:

— Можно мне по такому ударить?

Наши отвечают:

— Сделай милость, коли кинжала не жалко.

Он и хватил со всего плеча, — и что ты думаешь? На кинжале зубрина до самого перехвата, а наша сабелька какой была, такой и осталась. Тут еще натащили оружия, а толк один: либо напрочь наш булат то оружие рубит, либо около того. Рубака тогда оглядел нашу саблю, поцеловал ее, покрутил над головой и стал по-своему говорить. Нашим переводят, конечно. Он, дескать, в своей стороне знаменитый по оружию человек, и накоплено у него множество самого редкого, а такого булату ему и видеть не доводилось. Нельзя ли эту саблю купить? Денег он не пожалеет. Наши, ясное дело, скупиться не стали.

— Прими, — говорят, — в памятку о нашем заводе. Хоть эту возьми, хоть другую выбери. У нас без обману. Один мастер варит, только в отделке различка есть.

Ножны ему тоже подарили, с выкладкой под старое серебро. Он благодарит со всякой тамошней обходительностью, а наши ему втолмливают:

— Златоустовский завод, златоустовские мастера.

Чужестранный человек, хоть рубака первостепенный, а по-нашему не может. Бормочет, а смешно выходит. Так он взял да и выкладку на ножнах поцеловал: очень, дескать, превосходно. На том и расстались. Немцы в ту же ночь свой позор спрятали, вовсе другое выставили и людей не тех поставили. Будто ничего и не было, только это им не

прошло. В народе на выставке долго разговор об этом испытании держался.

Мастеру Швецову сказывали, как ансовский булат по всему свету гремит. Швецов посмеивался и работал, как смолоду, одиночкой. Тут, как у нас по заводам говорится, волю объявили, — за усадьбу, за покос, за лесные делянки деньги потребовали. Швецову к той поре далеко за полсотни перевалило, а он все еще в полной силе. Семью он давно завел, да это ему как-то не задалось. Видно, не зря молвлено: «Маша — не Луша, — каша не та, и ребята другие».

Приглядывается мастер Швецов, как жизнь при новом положении пойдет, а хорошего не видит. Барская сила иструхла, зато деньги крепко в гору пошли, и жадность на них появилась. Мастерством не дорожат, лишь бы денег побольше добыть. В своей семье раздор пошел. Который-то из сыновей бросил работу в литейной и перешел в объездные. Там, говорит, дорожке платят и сорвать можно. Швецов из-за этого случая даже от семьи отделился, — ушел жить в малуху. К нему тут немцы полезли. Они, видать, хоть про степных кузнецов рассказывали, а сами понимали, в котором месте тайность искать. Вот и стали подсылать к Швецову. Когда немцев же, когда подставных из наших, а повадка у всех одна. Набросает такой перед мастером груду денег и говорит:

— Деньги твои — тайность моя.

Швецов только посмеется:

— Кабы на эту горку петуха посадить, так он бы хоть караул закричал, а мне что делать? Не красным товаром торговать, коли смолоду к мастерству прирос. Забирай-ка свое да убирайся с моего. На том и разделемся, чтобы другой раз не встретиться.

Прошло еще годов близко сорока, а все мастер Швецов булатную сталь варит. Остарел, конечно. Подручные у него есть, да не может выбрать надежного. Был один паренек хороший, так его в тюрьму загнали. Книжки будто не такие читал. Старик этому не поверил, ходил хлопотать за парня, так куда тебе! Крик подняли: «Вперед такого и говорить не смей!»

Тут и самого старика избидели: дедушкину росчисть отобрали. Росчисть не больно завидна была. В доброе лето на одну коровенку сена поставишь, да привык к ней старик. Вот и пошел опять по начальству. Там помянул, что на заводе работает полных семь десятков лет, варит тот самый булат, которым завод на весь свет прославился. К этому добавил:

— И мои капельки в том булате есть.

Начальство эти слова насмех подняло:

— Зря, дед, гордишься. Твоего в этом деле одна привычка. Остальное в книгах написано, а у нас в заводском секрете особая запись Аносова хранится. По ней кто хочешь булат сварит.

Старика это сильно задело.

— Неуж, — спрашивает, — мою работу ни во что ставите?

— Во столько, — отвечают, — и ставим, сколько поденно получашь.

— Коли так, — говорит Швецов, — так и варите по своим записям, а только аносовского булату вам больше не видать.

С тем и ушел. А начальники посмеиваются:

— Разгорячился старичина! Вишь, как о себе думает!

Вскоре хватились однако. Кого ни поставят к варке, толку не выходит. Главный начальник приказал послать за стариком, а тот ответил:

— Неохота мне, да и ноги болят.

— Привезти его на моей паре! — приказал начальник, а сам посмеивается: «Пусть старик потешится!»

Швецов и на это не поддался:

— Пусть сам начальник ко мне приедет, ему привычное на лошадях кататься.

Начальник зашумел:

— Как он смеет такое говорить? Подо мной таких-то, как он, тысячи, а я ему кланяться стану. Никогда этого не дождется!

Начали опять пробовать. Выходит булат, да не такой. Как говорится, дальняя родня, с коей век не видался, и прозвище другое. А уж пошел разговор, что в Златоусте булатную сталь варить разучились. Начальник вовсе помяк, стал подлаживаться к мастеру Швецову, пенсию ему хорошую назначил, сам к нему пришел, деньги большие сулил, а Швецов его укорил:

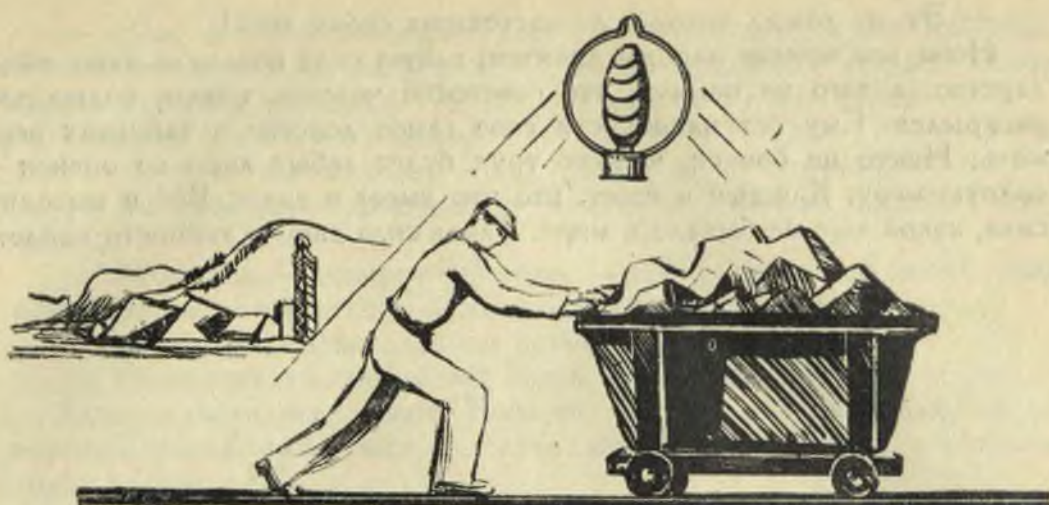
— Все-то вам деньги да деньги! Да я ими мог бы угол завалить, кабы захотел! Тайность моя не продажная. Ее добром отдают, только не всякому. Вот если выручишь из тюрьмы моего подручного, будет он вам аносовский булат по моим составам варить, а я вам не слуга.

Хлопотал ли начальник за того парня, сказать не умею, только Швецов так никому и не оставил свою тайность. Томился, сказывают, перед смертью, а все-таки в заветном сундучке у него пусто оказалось. Пыль даже вытряс, чтоб по ней не добрались. Берег, значит, свою тайность от тех, кто его мастерство поденщиной мерил и работу всей его жизни ни во что поставил. Так и унес с собой тайну знаменитого булата. И как осудишь за это старика. Вздохнешь разве:

— Эх, не дожил человек до настоящих своих дней!

Ныне вон многие народы дивятся, какую силу показало наше государство, а того не поймут, что советский человек теперь полностью раскрылся. Ему нет надобности свое самое дорогое в тайниках держать. Никто не боится, что его труд будет забыт либо не оценен в полную меру. Каждый и несет, кто что умеет и знает. Вот и выходит сила, какой еще не бывало в мире. Такая сила любую тайность найдет.





КРУГОВОЙ ФОНАРЬ



НЕНУ человеку смаху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена: человека узнать — пуд соли с ним съестъ.

Только этак-то, на мое разумение, больно солоно обойдется, в годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты, беспременно, с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет: либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь, — такому поверишь, чего и не было.

Нет, соляная мерка не вовсе к такому делу подходит. Мои старики по-другому советовали:

— Обойди, — говорят, — человека не один раз да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по суседству, каков по хозяйству да по семейности. Одним словом, огляди кругом, без пропуска.

Да еще наказывали:

— Гляди в полный глаз, не смигивай: это, дескать, соринка, то — пушинка, это — просто так, а то и вовсе пустяк. А ты все прибирай:

соринку в примету, пушинку — на память, так — за пазуху и пустяк в карман. Помни: не велика зверина комар, а и от него оберучь не отмашешься.

И про то старики забывать не велели, чтоб со есякой стороны человека на полный вершок мерять. Бывает ведь, — иной, как говорится, и поет и пляшет, а не послушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в нетунаях, а то и вовсе в дураках ходит, а с одного боку светит, будто блендочка в рудничных потемках. Навеска ведь немалая. Против лампешки, которая кверху коптит, а по бокам подмигивает, такая бленда дорогого стоит. Ну, а та же блендочка мизюкалка-мизюкалкой против шахтного фонаря.

Про ионешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во сне не виделось, а все-таки у них на больших подземных работах у главного подъемного ствола ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше бленды, светильня у него потолще и какие-то в нем угольчатые стеклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стеклышках да лесенке и была. Чуть лесенка прогиб дала, либо какое стеклышко замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда все в исправности, фонарь гонит свет ровно и сильно и большой круг захватывает.

Силу фонаря разгадать просто оказалось, а вот почему люди по-разному светятся — это еще понять и понять надо. Стеклышек, подико, никому не поставлено. У каждого две руки, две ноги, и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всех печеней пыхтит-старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному какому делу сроден, а в остальном бревно-бревном. Есть и такие, что будто играючи живут, и во всем им удача. Лошадь купят — она и воз везет и в бегу от рысака не отстает. Женится — ребята пойдут мост-мостом, как грузочки после дождя, один другого ядреней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов такой не отстанет. Вот и пойми эту штуку!

Старики про такой приметный случай рассказывали.

Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане прозваньем Гриньша Рыбка. Парень не то чтоб сильно могучий. Ну, все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не приходится, пошевеливаться надо. Гриньша и пошевеливался веселенько. Со стороны смотреть любо. Другие, которые на прокатке, тоже народ складных статей. Были иные и рослее и могучнее Гриньши, а выстоять против него ни-

кому не удавалось. Податнее всех у него работа шла и браку никакого.

При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься, а тут еще и поводок был. Чуть ли не в одной смене с Гриньшей стоял Михалко Гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не похвастать. Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз с искоркой. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки да и молодые бабенки заглядываются: на мою бы долю такой пришелся!

Против этого Михалка Гвоздя у Гриньши неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как еще неженатиками ходили, на одну девушку нацелились. Не то, чтоб богатая невеста, а из того дьявола слою, про который говорят: не разберешь, чем взяла, веселым обычаем, густой бровью али крутым плечом.

Михалко Гвоздь сперва вроде опередил Гриньшу. Посватался, рукобитье сделали, насчет дня свадьбы уговорились. А Гриньша все-таки не отстает, свое нашептывает девушке:

— Неуж ты, Аганиюшка, своей судьбы не чуешь?

Аганиюшка слушала-слушала эту песню да и учуяла свою судьбу, убегом за Гриньшу выскочила. Ее родня, понятно, шум подняла. Как так, по какому праву? Этак станут, так и на свадьбе не погуляешь! Гриньше грозили:

— Мы, дескать, этого выюна-рыбу на поганой сковородке изжарим да собакам выбросим!

Гриньше это передавали, а он, знай, посмеивается.

— Выюна, — говорит, — изжарить просто, да поймать не легко.

По времени утихомирились, конечно. Видят, — согласно молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье. В работе друг от дружки не отстают и веселья не чураются. Чего еще надо? А Гриньша тут и подвернул:

— Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали? Мы с женой не прочь от этого, потому — без свадебной гулянки чего-то не хватает.

Аганина родня и растаяла от таких слов. Уж не выюном Гриньшу зовут, а рыбкой навеличивают, да нахваливают:

— Рыбка — рыбка и есть. Поглядеть на него весело. Ловкий парень, что говорить! С таким мужем Агания не затоскует.

Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь-честью, сколько достатку хватило. Даже и те, кто еще сомневался в Гриньше, после свадебной гулянки в одно слово заговорили:

— Такого мужика поискать.

Ну, а Гвоздь все-таки не забыл своей обиды. Он, конечно, тоже женился. Хорошую девушку взял, а против Гриньши злобу все-таки имел. По работе не один раз подвести хотел, да Гриньша тоже поглядывал и всякий подвох слету узнавал.

С первых годов, случалось, Михалко Гвоздь и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик могучий. Со стороны поглядеть — расшибет, а на деле не то оказывалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит да Гвоздю гвозди заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся. Гриньша ничем ничего, веселехонек, а у Михалка кругом синяки да шишки понасажены.

С годами это прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая. У Михалка и ус завял и глаз помутнел, а Гриньша похаживает, как в молодые годы, будто и не постарел ни сколько. И жена у него, Аганышка-то, ребенка принесет, ровно цвету себе добавит.

Михалка завидки берут: почему такое? Вот он и придумал:

— Неспроста это. Беспременно тут какая-нибудь тайность есть. Жив не буду, а разузнаю все до тонкости.

Ну, мужик въедливый. Недаром Гвоздем прозвали. Не только сам этим занялся, многих других подбил, — подглядывать да разузнавать стали.

Время тогда темное было, пустякам разным верили. Вот и пошел разговор о каких-то тайных родинках на теле да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриньшу принимала, не дала ходу этим разговорам.

— Никаких, — говорит, — тайных родинок на теле не было и счастливой рубашки не бывало.

Потом сплели, будто Гриньша каждое лето, в Иванову ночь, ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Гриньша, а он себе спит-похрапывает на холодке, под навесом.

Тут еще что-то придумали, только видят, — пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе-возможности. Тогда и решили: спросим самого. Выбрали часок, собрались да и говорят:

— Скажи, Григорий Зотенч, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спорина, по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в том деле тайности?

Егорша Задор еще полюбопытствовал:

— Дело, конечно, прошлое, а только дирался ты не один раз с Михайлом Гвоздем. Всем нам ведомо, что Гвоздь крепче тебя и в развороте не уступит, а почему всегда ты долбил Гвоздя, а ему ни разу не удавалось тебя поколотить?

Гриньша и объяснил по совести.

— Никакой, — говорит, — тайности в том деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. Помоему, хоть железо катать, хоть петли метать, хоть траву косить, али бревна возить — все выучка требуется, и не как-нибудь, а понастоящему. Если какое дело не знаю, за то не возьмусь, а придется, так сперва поищу, у кого поучиться, чтоб по-хорошему вышло.

— Простое, скажем, дело литовку отбить, либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит — из сотни один. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и мохров не оставляет, а у кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь, — и ладно выходит. Ну, кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завел, так об этом днем и ночью помнить обязан. Последнее дело, коли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да забот это дело требует.

Рассказал этак-то и говорит:

— Вот и вся моя тайность: ни одно дело пустяком не считаю и кругом себя гляжу. И касательно драчишек с Михайлом то же самое. К дракам у меня охоты не было, ну, знал, — без этого на веку не проживешь, вот и примечал с малолетства, в какую косточку стукнуть больнее. Этим Михайлу и брал. Сила у него, конечно, медвежья, а сноровки нет. Думает, — драться без учебы можно, а оно не так. Не найдешь такого, чтобы без сноровки обошлось, а где она — там и выучка.

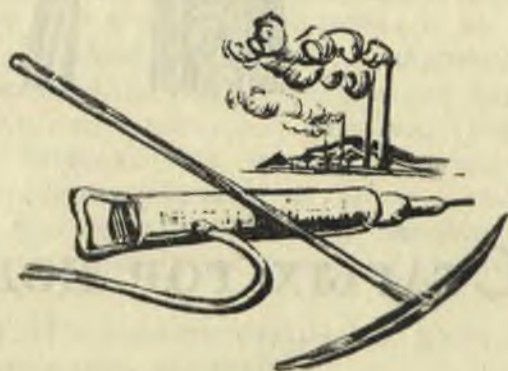
Рассказал Гриньша по-честному, как сам понимал, многие все-таки ему не поверили, при своем остались, — счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул:

— Слушайте вы его! Он наскжет. Мало ли приметливых людей, да не у всякого такая удача. Беспременно тут тайность есть, да найти ее не можем.

Только и Михайлу слушать не стали: ребячий, дескать, разговор. Так настояще и не решили, а ведь Гриньша правду говорил.

По теперешним временам это виднсе стало. Недавно вон одного вальцовщика в книгу почета записывали. Так и сяк поворачивали, а на одно вышло. По своей работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учебу не забывает и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Одним словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, по-другому его похвалили:

— С которой стороны ни поверни — все коммунист.





СТАРЫХ ГОР ПОДАРЕНЬЕ



ТО ведь не скоро разберешь, где старое кончается, где новое начинается. Иное будто вчера делано, а думка от дедов-прадедов пришла. Не разделишь концы-то. Недавно вон у нас на заводе случай вышел. Стали наши заводские готовить оружие в подарок первому человеку нашей земли. Всяк, понятно, старался придумать как можно лучше. Без спору не обошлось. В конце концов придумали такое, что всем по душе пришлось и совсем за новое показалось. Старый мастер, когда ему сказали, — форма такая, разделка полосы этакая, узор такой, — похвалил выдумку, а потом и говорит:

— Если эту ниточку до конца размотать, так, пожалуй, дойдешь до старого сказа. Не знаю только, башкирский он или русский.

По нашим местам в этом деле, — и верно, — смешицы много. Бывает, что в русской семье поминают бабу Фатиму, а в башкирской, глядишь, какая-нибудь наша Маша-Наташа затесалась. Известно, с давних годов башкиры с русскими при одном деле на заводах стояли, на рудниках да на приисках рядом колотились. При таком положении немудрено, что люди и песней, и сказкой, да и кровями перепутались. Не сразу разберешь, что откуда пришло. Привычны у нас к этому. Никто за диво не считает. А про сказ стали спрашивать. Старый мастер отказываться не стал.

— Было это, — говорит, — еще в те годы, как я вовсе молодым парнишкой на завод поступил. С полсотни годов с той поры прошло.

В цеху, где оружие отделявали да украшали, случилась неожиданная остановка. Позолотчики оплошали: до того напустили своих едучих зеленых паров, что всем пришлось на улицу выбежать. Ну, прокашлялись, прочихались, отдышались и пристроились передохнуть маленько. Кто цыгарку себе свернул на тройной заряд, кто трубку набил с верхушкой, а кто и просто разохотился на голубой денек поглядеть. Уселись, как пришлось, и завели разговор. Рисовщик тогда у нас был. Перфишей звали. По мастерству из средненьких, а горячий и на чужую провинку больше всех пышкал. Такое ему и прозвание было — Перфиша Пышкало. Он, помню, и начал разговор. Сперва на позолотчиков принялся ворчать, да видит, — остальные помалкивают, потому всяк про себя думает: с кем ошибки не случается. Перфиша чувствует, — не в лад пошел, и переменял разговор. Давай ругать эфиопского царя:

— Такой-сякой! И штаны-то, сказывают, в его державе носить не научились, а мы из-за него задыхайся!

Другие урезонивали Перфишу:

— Не наше дело разбирать, какой он царь. Заказ кабинетский, первостатейный, и должны мы выполнить его по совести, чтоб не стыдно было наше заводское клеймо поставить.

Перфиша все-таки не унимается:

— Стараемся, как для понимающего какого, а что он знает, твой эфиопский царь! Наляпать попестрее да поглазастее — ему в самый раз, и нам хлопот меньше!

Тут кто-то из молодых стал рассказывать про Эфиопию. Сторона, дескать, жаркая и не очень чтоб грамотная, а себя потерять не желает. На нее другие больно грамотные давно зубы точат, а она не поддается. И царь у них, по-тамошнему негус, в том деле заодно с наро-

дом. А веры они, эти эфиопы, нашей же, русской. Потому, видно, и придумали кабинетские подарки в Эфиопию послать.

С этого думки у людей и пошли по другим дорожкам. Всем будто веселее стало. По-хорошему заговорили об эфиопах.

— Настоящий народ, коли себя отстоять умеет. И царь, видно, у них с понятием. А что одежда по другому против нашего, так это пустяк. Не по штанам человеку честь.

Перфиша видит, — разговор вовсе не в ту сторону пошел, захотел поправиться да и ляпнул:

— Коли так, то надо бы этому царю не меч сделать, а шашку, на манер той, какая, сказывают, у Салавата была.

Тут Митрич, самый знаменитый по тем годам мастер, даже руками замахал:

— Что ты, Перфиша, этакое, не подумавши, говоришь! Деды-то наши, поди, не на царя ту шашку задумали!

Наш брат, — молодые, кто про эту штуку не слышал, начали просить: расскажи, дедушка Митрич! А старик и не отговаривался:

— Почему не рассказать, если досуг выдался. Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иное — в покор, иное — в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. Вот слушайте!

Сперва в том сказе о Салавате говорится, что за человек был. Только по нашим местам об этом рассказывать нет надобности, потому как про такое все знают. Тот самый Салават, который у башкир на самой большой славе из всех старинных вожаков. При Пугачеве большую силу имел. Прямо сказать, правая рука. По письменности, сказывают, Салавата казнили царицыны прислужники, только башкиры этому не верят. Говорят, что Салават на Таганай ушел, а оттуда на луну перебрался. Так вот с этим Салаватом такой случай вышел.

Едет он раз близко здешних мест со своим войском. Дорога по ложку пришлась. Место узкое. Больше четырех конников в ряд не войдет. Салават по своему обычаю впереди. Вдруг на повороте выскочил вершник. В башкирских ичигах, в бешмете, а шапка русская — с высоким бараньим околышем, с суконным верхом. И обличьем этот человек на русскую статью — с кудрявой бородой широкого оклада. В немолодых годах: седины в бороде много. Конек под ним соловенький, не больно велик, да самых высоких статей: глаз горячий, навес, то есть, грива, челка и хвост, — загляденье, а ножки подсушены, стрункой. Тронь такого, мелькнет — и не увидишь.

Башкиры — конники врожденные. При встрече сперва лошадь оглядят, потом на человека посмотрят. Все, кому видно было, и устались на этого конька, и Салават тоже. Никто не подумал, откуда верш-

ник появился, и нет ли тут чего остерегаться. У каждого одно на уме: такого бы конька залучить! Иные за арканы взялись. Не обернется ли дело так, чтоб захватом добыть. Все смотрят на Салавата, что он скажет, а тот и сам на конька загляделся. Под Салаватом, конечно, конь добрый был. Богатырский вороной жеребец, а соловенький все-таки еще краше показался. Закричал Салават:

— Эй, бабай, давай коням мену делать!

Вершник посмотрел этак усмешливо и говорит:

— Нет, батырь Салават, не за тем я к тебе прислан. Подаренье старых гор привез. Шашку!

Салават удивился: — На что мне шашка, когда у меня надежная сабля есть. Вот гляди!

Выхватил саблю из ножен и показывает. Сабля, и точно, редкостного булату и богато украшена. На крыже и головке дорогие камни, а по всей полосе золотая насечка кудрявого узора. Ножны так и сверкают золотом да дорогими камнями.

— Лучше не найдешь! — похвалился Салават. — Сам батька государь пожаловал. Ни за что с ней не расстанусь!

Вершник опять усмехнулся.

— Давно ли ты, батырь, считал своего вороного первым конем, а теперь говоришь мне: давай меняться. Как бы такое и здесь не случилось. Батька Омельян, конечно, большой человек, и сабля его дорого стоит, а все-таки не равняться ей с подареньем старых гор. Принимай!

Подъехал к Салавату, снял по русскому обычаю шапку, а с коня не слез и подает шашку. Пошире она сабли, с пологим выгибом, в гладких ножнах. На них узор серебряный заподлицо вделан, как спрятан. Казового будто ничего нет, а тянет к себе шашка. Сунул Салават свою саблю в ножны, принял шашку и чует, — не легонькая, как раз по руке. Вытащил из ножен — обомлел: там в полосе молнии сбились, вот-вот разлетятся. Махнул — молнии посыпались, а шашка целехонька.

— А ну, на крепость! — кричит Салават. Подлетел к большой сосне, а они ведь у нас, сами знаете, какие по горам растут. Как камень, в воде тонут. Рубнул Салават с налету во всю силу и думает, — посмотрю, какую зарубку оставит, если не переломится. Шашка прошла сосну, как прутик какой. Повалилась сосна, чуть Салавата с конем не пришибла. Вершник приезжий тогда и спрашивает:

— Разумеешь, батырь Салават?

— Разумею, — отвечает. — Другой такой шашки на свете быть не может. Из своих рук ни в жизнь не выпущу!

— Не торопись со словами, Салават, — ответил приезжий, — сперва наказ выслушай!

— Какой еще наказ! — загорячился Салават. — Сказал, — не выпущу из своих рук, пока жив! Тут и наказ весь!

— Этого, — отвечает, — и я тебе желаю, да не в моих силах то сделать. Шашка, сам видишь, не простая. По-доброму-то ее надо бы батьке Омельяну, как первому жожаку, да жил он всяковато: в его руках шашка силу потеряет. Ты молодой, корыстью тебя никто не укорил, тебе и послали, но в малый дар. Знаешь, как при русских свадьбах бывает. На посыл жениха невеста со сватом посылает сперва малый дар. Он, может, и самый дорогой, да посылается не навовсе, а в роде как для проверки. Невеста вольна во всякое время взять малый дар обратно. Так ты и знай! Будет эта шашка твоей, пока ничем худым и корыстным себя не запятнал. Если в том удержишься, тебе эту шашку, может, и в большой дар отдадут, — навсегда, то-есть.

— А как это узнать? — спрашивает Салават.

— Об этом не беспокойся. Явственно будет показано, а как — того не ведаю.

На Салавата тут раздумье нашло:

— Что будет, если со мной ошибка случится?

— Шашка силу потеряет и на весь твой народ беду приведет, если не вернешь шашку в гору.

— Как тебя найти? — спрашивает Салават.

— Меня больше не увидишь, а должен ты найти девицу, чтоб она жизни своей не пожалела, в гору с шашкой пошла. Там шашка опять свою силу получит, и снова ее вынесут из горы. Не знаю только, когда это будет и кому шашка достанется.

Выслушал Салават и говорит:

— Понял, бабай, твое слово. Постараюсь не ослабить силу шашки, а случится беда, выполню второй твой наказ. Одно скажи, можно ли с шашкой послать в гору свою жену?

— Это, — отвечает, — можно, лишь бы по доброй воле пошла.

Салават обнадежил:

— В том не сомневайся! Любая из моих жен с радостью пойдет, коли надобность случится.

Вершник еще напомнил:

— Коли на себя потянешь, потеряет шашка силу, а если будешь заботиться о всем народе, без различья роду-племени, родных-знакомых, никто против тебя не устоит в бою.

На том и кончили разговор. Тут приезжий посмотрел на арканников, кои с его коня глаз не сводили, усмехнулся и говорит:

— Ну, что ж, играть, так играть! За тем вон выступом сланка откроется, там и сделаем байгу. Кто заарканит моего Соловка, тот и



Детская Центральная Библиотека
г. Свердловск

владей им без помехи! Не удастся заарканить, тоже польза: в головах посветлеет.

Все, кто арканы наготовил, рады-радехоньки: почему счастья не попытаться. Живо вперед вылетели. Отъехали немножко, там, верно, в горах широкая еланка открылась. Вершник подался шагов на десяток вперед, поставил коня поперек дороги, показал рукой на гору и говорит:

— Туда скакать буду, а уговор такой: рукой махну — ловите!

Кто со стороны на это глядел, те дивятся, почему мало забегу взял, зачем коня поперек дороги поставил, как нарочно подогнал, чтоб заарканить легче было. В арканниках-то один мастер этого дела считался. Мужчина здоровенный, и лошадка у него как придумана для такой штуки: на долгий гон терпелива и на крутую наддачу способная. Все и думают: непременно Фаглазам конька заарканит. Тут вершник сказал своему Соловку тихое слово, махнул рукой, и на глазах у всех как марево пролетело. Стали потом искать, куда вершник подевался. Доехали до того камня, на какой он указывал, и видят: на синем камне золотыми искриночками обозначено, будто тут вершник на коне проехал. На арканников накиннулись, как они посмели затеять охоту на такого посланца. Самого Салавата окружили, давай спрашивать, о чем приезжий говорил. Салават рассказал без утайки, а ему наказывают:

— Гляди, батырь, чтоб такая шашка силу не потеряла. О себе не думай, о народе заботься! Родие поблажки не давай, в племенах различья не делай!

Салават уверил, — так и будет. И верно, долгое время свое слово твердо держал, и гор подаренье служило Салавату так, что никакая сила против него устоять не могла. Ну, все-таки промахнулся. Родня с толку сбила. В роду-то у Салавата все-таки большие земли были, а заводчик Твердышев насильством тут завод поставил да еще две деревни населил пригнанными крестьянами, чтоб дрова рубили, уголь жгли и все такое для завода делали. Родня и стала подбивать Салавата: сгони завод и деревни с наших земель. Захватом, поди-ка, эта земля Твердышевым взята. Правильно сделаешь, коли его сгонишь. Салават сперва остерегался. Два раза побывал в заводе и деревнях и оба раза с какой-то девушкой разговор имел. Тут родня и поднялась. Ты, дескать, в неверную сторону пошел, от родных отмахнулся, а жены завыли: «Променял нас на русскую девку!» Не устоял Салават, сделал набег со своей родней на завод и деревни.

— Убирайтесь, — кричит, — откуда пришли!

Люди ему объясняют, — не своей волей пришли, а родня и слушать такой разговор не дает. Кончилось тем, что завод и обе деревни

сожгли, а народ разогнали. С той поры шашка у Салавата и перестала молнии пускать. В войске сразу об этом узнали. Да и как не узнать, коли Салават дважды раненным оказался, а раньше такого с ним не бывало. Тут и все дело Пугачева покачнулось и под гору пошло. Со всех сторон теснят его царицыны войска. Тогда Салават собрал остатки своих верных войсковых людей, захватил своих жен и прямо к Таганаю. Подошел к горе, снял с себя шашку, подал жене и говорит:

— Возьми, Фарида, эту шашку и ступай в гору, а я на вершину поднимусь. Когда шашка прежнюю силу получит, вынесешь ее из горы, и я к тебе спущусь.

Фарида давай отнекиваться: — Не привычна к потемкам, боюсь одна, тоскливо там. — Салават рассердился, говорит другой жене:

— Иди ты, Нафиса!

Эта тоже отговорку нашла:

— Фарида у тебя любимая жена. Ее первую послал, пусть она и несет шашку!

У Салавата и руки опустились, потому — помнит, — надо, чтоб своей волей пошла, а то гора не пустит. Как быть? Аксакалы войсковые да и все конники забеспокоились, принялись уговаривать женщин:

— Неуж вы такие бесчувственные? Всему народу беда грозит, а они перекоряются! Которая пойдет, добрую память о себе в народе оставит, а не пойдет — все равно и нам и вам не житье.

Бабенки, видно, вовсе набалованные. Одно понимали, как бы весело да богато пожить. Заголосили на всю округу, а перекоряться меж собой не забыли.

— Не на то меня замуж отдавали, чтобы в гору загонять! Пусть Нафиса идет! С хромой-то ногой ей сподручнее в горе сидеть.

Другая это же выпевает, а под конец кричит:

— Фаридке, с ее-то рожей, только в потемках и место! Самое ей подходящее в гору спрятаться!

Одним словом, слушать тошно, и конца не видно. Только вдруг объявилась девица из разоренной деревни. Та самая, с коей Салават два раза разговаривал. Посмотрела строго и говорит Салавату:

— Прогони бабенку! Разве это батырю жены! И родню твою тоже! Оставь одних верных людей, с коими по всей правде за народ воевал. Тогда поговорим.

Салават видит, — не спроста пришла. Белел сделать, как она сказала. Конники враз налетели, давай родню выгонять, а жёнки са-

ми убежали, обрадовались, что в гору не итти. Как бабьего визгу-причету не стало, девица и говорит:

— Пришла я, батырь Салават, своей волей. Не жалею своей жизни, чтоб тебе пособить и народ из беды вызволить. О шашке, что у тебя в руке, мне многое ведомо. Веришь ли ты мне?

— Верю, — отвечает Салават.

— А веришь, так подавай подаренье старых гор!

Поглядел Салават на своих верных конников. Те головами знак подают: отдай шашку, не сомневайся! Поклонился Салават низким поклоном, поднял голову — и видит, девица в другом наряде оказалась. До того была в худеньком платьишке, в обутках, в полинялом платчишке, а тут на ней богатый сарафан рудяного цвету с серебряными травами, да позументом, на ногах башкирские башмаки узорного сафьяну, на голове девичий козырек горит дорогими камнями, а мнисто башкирское. Самое богатое, из одних золотых. Как пригрелось на груди. Так от него теплом да лаской и отдает.

— Вот она невеста! За своим малым даром пришла! — подумал Салават. Подал шашку. Приняла девица обеими руками, держит перед собой как на подносе, и улыбается:

— Оглядывался зачем?

Салават объясняет: хотел, дескать, узнать, верят ли тебе мои конники, а девица вздохнула:

— Эх, Салават, Салават! Кабы ты всегда на народ оглядывался! Не слушал бы родню да жен своих! Каких только и выбрал! Обнять тебя хотела на прощанье, да не могу теперь, как на них поглядела. Так уж, видно, разоидемся: я в гору, ты на гору. По времени и мне придется на вершине быть.

— Свидимся, значит, — обрадовался Салават.

— Нет, батырь Салават, больше не свидимся, и это старых гор подаренье тебе в руке не держать. На того оно ковано, кто никогда ничем своим не заслонил народного.

— Когда же, — спрашивает Салават, — на горе покажешься?

— Это, — отвечает, — мне неизвестно. Знаю только, что буду на вершине, когда от всех наших гор и от других тоже огненные стрелы в небо пойдут. Над самым большим нашим городом те стрелы сойдутся в круг, а в кругу будет огненными буквами написано имя того, кому старых гор подаренье навеки досталось.

Сказала так, повернулась и пошла к каменному выступу горы. Идет, не торопится, черной косой в алых лентах чуть покачивает, а шашку несет на вытянутых руках, будто на подносе. И тихо стало. Народу все-таки много, а все как замерли, даже уздечка не звякнет.

Подошла девица к камню, оглянулась через плечо и тихонько молвила: «Прощай, Салават! Прощай, мой батырь!» Потом выхватила шашку из ножен, будто давно к этому привычна, и рубнула перед камнем два раза на косо́й крест. По камню молнии запыльхали, смотреть людям не в силу, а как промигались, никого перед камнем не оказалось. Подбежал Салават и другие к тому месту и видят — по синему камню золотыми искриночками обозначено, как женщина прошла.

* * *

Рассказал это Митрич и спрашивает:

— Поняли, детушки, на кого наши деды свое самое дорогое заветили?

— Поняли, — отвечаем, — дедушка Митрич, поняли.

— А коли поняли, — говорит, — так сами сиднями не сидите. Всяк старайся тому делу пособлять, чтобы дедовская думка поскорей явью стала.

— Он, видишь, Митрич-то наш, из таких был, — пояснил рассказчик, — в беспокойных считался, начальству не угоден. При последнем управляющем его вовсе из завода вытолкнули. Не поглядели, что мастер высокой статьи. И то сказать, он штуку подстроил такую, что начальству пришлось в затылках скрести: как не доглядели! Ну, это в сторону пошло. Рассказывать долго. — Потом, помолчав немного, добавил:

— А насчет того, чтобы пособлять, это было. На моих памятях немало наших заводских в конники и войсковые люди того дела ушли, а потом, как свету прибавилось, и всем народом трудились. И вот дождались. Кто и сам не видел, а знает, когда над нашим самым большим городом огненные стрелы в круг сошлись. И всякий видит в этом круге имя того, кто показал народу его полную силу, всех врагов разбил и славу народную на самую высокую вершину вывел.



ОБЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

Артуть-девка — подвижная, быстрая. *Артуть* — ртуть.

Бадожок — дорожный посох, палка.

Баранья лытка — берцовая кость, подколенье.

Бассенька — красивенькая.

Бат, батишка — долбленая лодка, обычно управляется одним веслом.

Байга — бега, скачки на лошадях.

Байка — колыбельная песня с речитативом.

Балук — баловень, избалованный, непослушный.

Бахил — род сапог с мягким голенищем.

Бергал — старший рабочий, которому подчинялась группа подростков-каталей.

Блазнить — казаться, мерещиться.

Болодка — ручной молот.

Ботало — колоколец, с которым пускают лошадей, иногда коров, на пастбище в лесу.

Вехотка — судомойка, пучок мочала, соломы, хвоща или другой травы.

Взлобышек — возвышение с крутым подъемом.

Вожгаться — биться над чем-нибудь, упорно и долго трудиться.

Воробы — приспособление для размотки пряжи (вращающаяся на вертикальном стояке крестовина).

Виловище — длинная рукоятка для вил: деревцо с таким разветвлением, что удобно сделать вилы.

Вица — прут, розга.

Втомливать — втолковывать, разъяснять.

Гачи, без гач — без ног, не владеет ногами.

Глядельце — разлом горы, глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева, где видно напластование горных пород.

Гоношить — готовить.

Голбец — подполье.

Голк — отзвук, гул.

Гумешки — (от старинного слова гуменце — невысокий пологий холм). Гумешевский рудник. Медная гора или просто Гора — вблизи Полевского завода.

Долуши — род экипажа с подножками с обеих сторон.

Долочки — долины, лога.

Дурмашик — горный хрусталь.
Еланка, елань — поляна в лесу.
Жердник — сосновый лес в возрасте 20—30 лет, который идет на жерди.
Желтяки — сернистый колчедан.
Жички — тонкие прутки.
Заделье — предлог.
Зазнамо — заведомо, зная.
Зарный — страстный любитель, охотник.
Занорыш — вздутие пегматитовых жил, где находят кристаллы драгоценных камней.
Запончик — фартук.
Зарукавье — змейка-браслет.
Звосять — ослепительно сверкнуть.
Здыморыльничать — поднимать нос, важничать, гордиться.
Изробиться — выбиться из сил от тяжелой работы.
Исподки — сторона предмета, камня, обращенная книзу: низовка, подбой.
Кайло — основное орудие горнорабочих вроде кирки.
Каменка — банная печь с наваленными сверху камнями (булыжником), на которые плещут воду, — «подают пар».
Княженика — ягода из семейства земляничных; отличается окраской и особым ароматом.
Кокоры — бревна с частью корневища; употребляются при постройке барок.
Кока с сокой — яйцо, подарок, гостинец, лакомство; в переносном смысле неприятность, удар.
Конотоп — стелющаяся трава, что растет по дорогам.
Королек — самородная медь кристаллами.

Лазоревка — разновидность колчедана.
Малуха — малая изба, мастерская.
Мурашики — муравьи.
Мурзинка, Мурзинское — село (в прошлом слобода, крепость), одно из древнейших на Урале.
Напрочапилась — покривилась на бок.
Навидячу — открыто, без стеснения у всех на виду, не таясь.
Наплавочек — поплавок.
Новокупка — недавно купленная.
Обальчик — соответствует понятию пустая порода, т. е. все то, что отбрасывалось.
Обахмурить — овладеть вниманием, поразить.
Обманка — руда, похожая на колчедан.
Обуй — обувь.
Объедь — ядовитые растения, которыми объедается скот.
Огневка — сильный жар, превращающий дрова в золу.
Огранка — обработка драгоценных камней.
Околтать — обтесать камень, придать ему нужную форму.
Опупышек — округление, круглый выступ.
Орлец — родонит из группы кварцев; поделочный камень краснорозовых оттенков.
Орлений — клейменный казенной печатью (с орлами).
Отуговеть — отойти, притти в себя.
Охтимнеченьки — охтимие (от междометия охти, выражающего печаль, горе) — горе мне, тяжело мне.
Охлест — человек грязной репутации, наглец, обидчик, бесстыжий.

Офит — из группы змеевиков; поделочный камень зеленого цвета, иногда зеленый порфир и даже мрамор.

Очесливый — почтительный, обходительный, вежливый.

Парун — жаркий день после дождя.

Подлонить — незаметно подставить, подсунуть.

Пест — боек, толкач для разбивания в ступке; бревна, которые, поднимаясь и опускаясь, разбивали руду.

Перебутаривать — перерывать песок, землю перемывать, вероятно, от слова бутара — промывальный станок.

Плитнячок — камень плиткой.

Питух — кабацкий завсегдатай, пьяница.

Пословные — послушные.

Пониточек — верхняя одежда из дотканного сукна.

Полер навести — отшлифовать.

Процал — промежутки между чем-нибудь.

Процикнуть — растратить, растратить.

Посыкаться — намереваться, попробовать, пытаться.

Почечуй — старинное название геммороя.

Похинькать — поплакать.

Полубочье — разрезанная пополам бочка.

Причтелось — померещилось.

Продух — отверстие для движения воздуха.

Привечать — приветливо, ласково обходиться, принимать.

Приходить на кого-нибудь — обвинять.

Прясло — изгородь из жердей.

Пустодымка — слабый жар, который не обугливает полено, а только закоптит.

Путцы — нитевидные пленочки, которые иногда остаются на отлитых вещах.

Разоставок — вставка, клик, лоскут; в переносном смысле подспорье, подмога.

Разаркаться — поссориться, побраниться.

Ремье — лохмотья, отрепья. Ремками трясти — ходить в плохой одежде.

Ревливать — не раз плакать.

Салка — почва вроде очень жидкой глины — пльвуна. Салка липнет к лопате.

Слоношить — приготовить быстро, поспешно.

Семик — весенний праздник с обычаем «завивать березку».

Серяки — сернистые колчеданы.

Скалдырничать — сквалыжничать, скупиться, приобретать обманном путем.

Смотница — сплетница.

Синь, в синь разделявать — закреплять на металле синий цвет, который образуется при закалке.

Сличье — удобный случай. «К сличью пришлось» — подошло.

Соковина дорожная — шлак, которым мостили дороги.

Сорочины — сороковой день после смерти.

Сойкнуть — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от междометия ой).

Старательский фарт — удача старателей.

Турман — порода голубей.

Тусок — берестяное ведро, бурак.

Тулай — толпа.

Тукманка — колотушка, тумак, удар.
Тянигуж — не очень крутой, но длинный подъем.

Умуется — заговаривается.

Урево — стадо, множество, много.

Хезнуть — хизнуть, чахнуть, болеть, дряхлеть, слабеть.

Хитник — грабитель, вор, хищник.

Чатинки — едва заметные следы ударов.

Чеботарская седулка — особый стул сапожников.

Чернеть — один из способов обработки металла в черный цвет.

Чирла — яичница.

Чиковка в чиковку — точка в точку.

Шадринки — следы оспы.

Шерловые шарички — шерл — цветной камень, турмалин.

Ширинка — полотенце, кусок ткани, отрезанный по всей ее ширине.

Ширф — шурф, разведочный колодец, дудка, яма.

Щетарь — штейгер.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Медной горы хозяйка	3
Малахитовая шкатулка	12
Две ящерицы	32
Золотые дайки	46
Жабреев ходок	61
Живинка в деле	72
Васина гора	77
Далевое глядельце	82
Каменный цветок	92
Горный мастер	110
Хрупкая веточка	122
Железковы покрышки	131
Иванко-Крылатко	141
Алмазная спичка	148
Чугунная бабушка	156
Хрустальный лак	165
Коренная тайность	174
Круговой фонарь	184
Старых гор подаренье	190

Редактор *М. Тютюник*

Технич. редактор *З. Малек*

А 04512. Подписано к печати 5/V — 1948 г.

Формат $70 \times 92\frac{1}{16}$. Тираж 30000.

Объем $12\frac{3}{4}$ п. л. Уч.-изд. 12,3 л. Зак. 733

Набрано в типографии «Профиздата».

Москва, Крутицкий вал, 18.

Сматрицировано и отпечатано в 3-й тип.
«Красный пролетарий» треста «Полиграф-
книга» ОГИЗа при Совете Министров
СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.







